

Моя гениальная подруга

Автор:

Элена Ферранте

Моя гениальная подруга

Элена Ферранте

Неаполитанский квартет #1

Первый из четырех романов уже ставшего культовым во всем мире «неаполитанского цикла» Элены Ферранте – это история двух подруг, Лену и Лилы, живущих в 50-е годы в одном из бедных кварталов Неаполя. Их детство и юность проходят на суровых улицах, где девочки учатся во всех обстоятельствах полагаться только друг на друга. Идут годы. Пути Лену и Лилы то расходятся, то сходятся вновь, но они остаются лучшими подругами – такими, когда жизнь одной отражается и преломляется в судьбе другой. Через историю Лилы и Лену Ферранте рассказывает о драматических изменениях в жизни квартала, города, страны – от фашизма и господства мафии до расцвета коммунистического движения, и о том, как эти изменения сказываются на отношениях между героинями, незабываемыми Лену и Лилой.

Элена Ферранте

МОЯ ГЕНИАЛЬНАЯ ПОДРУГА

Детство, отрочество

Господь:

Тогда явись ко мне без колебанья!

К таким, как ты, вражды не ведал я...

Хитрец, среди всех духов отрицанья Ты меньше всех был в тягость для меня.

Слаб человек; покорствуя уделу,

Он рад искать покоя, – потому

Дам беспокойного я спутника ему:

Как бес, дразня его, пусть возбуждает к делу!

И. В. Гёте. Фауст[1 - Пер. Н. А. Холодковского.]

Действующие лица

Семья сапожника Черулло

Фернандо Черулло, сапожник

Нунция Черулло, мать Лилы

Рафаэлла Черулло; для всех – Лина, Лила – только для Элены

Рино Черулло, старший брат Лилы, тоже сапожник

Рино – один из сыновей Лилы

Другие дети

Семья швейцара Греко

Отец, швейцар в муниципалитете

Мать, домохозяйка

Элена Греко, она же Ленучча или Лену?, старшая дочь

Младшие дети – Пеппе, Джанни и Элиза

Семья Карраччи (дона Акилле)

Дон Акилле Карраччи, людоед из сказок

Мария Карраччи, жена дона Акилле

Стефано Карраччи, сын дона Акилле, колбасник в семейной лавке

Младшие дети – Пинучча и Альфонсо

Семья столяра Пелузо

Альфредо Пелузо, столяр

Джузеппина Пелузо, жена Альфредо

Паскуале Пелузо, старший сын, каменщик

Кармела Пелузо, она же Кармен, сестра Паскуале, продавщица в галантерее

Другие дети

Семья сумасшедшей вдовы Капуччо

Мелина, родственница матери Лилы, сумасшедшая вдова

Муж Мелины, при жизни – грузчик на овощном рынке

Ада Капуччо, дочь Мелины

Антонио Капуччо, ее брат, механик

Другие дети

Семья железнодорожника-поэта Сарраторе

Донатто Сарраторе, контролер

Лидия Сарраторе, жена Донато

Нино Сарраторе, старший сын

Мариза Сарраторе, старшая дочь

Младшие дети – Пино, Клелия и Чиро

Семья торговца фруктами Сканно

Никола Сканно, торговец фруктами

Ассунта Сканно, жена Николы

Энцо Сканно, сын Николы и Ассунты, тоже торговец фруктами

Другие дети

Семья владельца бара-кондитерской «Солара»

Сильвио Солара, хозяин бара-кондитерской

Мануэла Солара, жена Сильвио

Марчелло и Микеле, сыновья Сильвио и Мануэлы

Семья кондитера Спаньюоло

Синьор Спаньюоло, кондитер у Солары

Роза Спаньюоло, жена кондитера

Джильола Спаньюоло, их дочь

Другие дети

Джино, сын аптекаря

Учителя

Ферраро, учитель и библиотекарь

Оливьеро, учительница

Джераче, преподаватель гимназии

Галиани, преподавательница лицея

Нелла Инкардо, двоюродная сестра учительницы Оливьеро, родом с Искьи

ПРОЛОГ

Заметая следы

1

Сегодня утром мне позвонил Рино. Я подумала, что ему опять нужны деньги, и уже приготовилась отказать. Но он звонил по другому поводу: его мать пропала.

- Когда?

- Две недели назад.

- И ты звонишь мне только сейчас?

Наверное, в моем голосе ему послышалась неприязнь, хотя в нем не было ни раздражения, ни возмущения, - лишь нотка сарказма. Он попытался оправдаться, но как-то неуверенно, смущенно, переходя с диалекта на итальянский и обратно. Сказал, будто решил, что мать, как обычно, гуляет по Неаполю.

- И ночью тоже?

- Ты же ее знаешь.

- Знаю, но две недели - это, по-твоему, нормально?

- Да. Ты давно ее не видела. Ей стало хуже: она почти не спит, то приходит, то уходит, делает что заблагорассудится.

В конце концов он все-таки забеспокоился. Расспросил кого мог, обзвонил больницы, даже обратился в полицию. Безрезультатно, матери нигде не было. Хорош сынок - толстый мужик под сорок, никогда в жизни не работал, занимался темными делишками да проматывал деньги. Я представила себе, как

он ее искал. Да никак! Мозгов нет, а заботиться привык только о себе.

- А у тебя ее нет? - ляпнул он вдруг.

Его мать - здесь, в Турине? Он прекрасно знал ответ и задал вопрос, лишь бы что-то спросить. Сам-то он любил путешествовать и заезжал ко мне раз десять, не меньше, и всегда без приглашения. А вот его мать, которую я, напротив, приняла бы с радостью, никогда по своей воле не покидала Неаполя, ни разу в жизни.

- Нет, у меня ее нет, - ответила я.

- Точно?

- Рино, я тебя умоляю! Сказала ведь: ее здесь нет.

- А куда же она подевалась?

Он захныкал, и я позволила ему разыграть трагическую сцену с рыданиями, поначалу притворными, а потом вполне искренними. Когда он умолк, я сказала:

- Пожалуйста, хоть раз сделай так, как она хотела бы: не ищи ее.

- Что ты говоришь?

- Я говорю то, что говорю. Это бесполезно. Учись жить один и не ищи ее больше. И мне больше не звони.

Я повесила трубку.

2

Мать Рино - Рафаэлла Черулло, но все всегда звали ее Лина. Все, кроме меня: я никогда не называла ее ни одним из этих двух имен. Уже больше шестидесяти лет для меня она - Лила. Если бы я когда-нибудь вдруг назвала ее Линой или Рафаэлкой, она бы решила, что нашей дружбе конец.

Уже лет тридцать, не меньше, она твердит мне, что хочет исчезнуть, не оставив за собой следов, и только я знаю, что она имеет в виду. Она никогда не помышляла о побеге, смене личности, не мечтала начать новую жизнь в другом месте. Никогда не думала и о самоубийстве: при одной мысли о том, что у Рино возникнут трудности с захоронением и ему придется поволноваться, ей делалось не по себе. У нее было другое на уме: она хотела испариться, раствориться до последней клетки, чтобы от нее не осталось ничего. И поскольку я ее хорошо знаю – по крайней мере, надеюсь, что знаю, – я не сомневаюсь, что она нашла способ не оставить от себя в этом мире ни волоска.

3

Прошло несколько дней. Я проверила электронную почту, без особой надежды заглянула в почтовый ящик. Я писала ей очень часто, но она почти никогда не отвечала – это вошло у нас в привычку. Она предпочитала разговоры по телефону и болтовню ночи напролет, когда я приезжала в Неаполь.

Я перебрала ящики, жестяные коробочки, в которых держу всякие мелочи. Совсем немного. Я выбросила кучу вещей, особенно связанных с ней, и она об этом знает. Я обнаружила, что у меня нет от нее ничего: ни портрета, ни записки, ни памятной вещицы. Я сама удивилась. Возможно ли, что за все эти годы она ничего мне не оставила, или хуже того – что я не захотела ничего от нее сохранить? Возможно.

На этот раз я сама скрепя сердце позвонила Рино. Он не отвечал ни на домашний, ни на мобильный. Перезвонил вечером, когда ему было удобно. Судя по голосу, рассчитывал вызвать у меня чувство вины.

– Я видел, что ты звонила. Есть новости?

– Нет. А у тебя?

– Тоже нет.

Стал молоть какую-то чепуху: будто бы собирается ехать на телевидение, на передачу, которая занимается поиском пропавших людей, обратиться с экрана к

матери, попросить у нее прощения за все, умолять вернуться.

Я спокойно выслушала его, а потом спросила:

– Ты заглядывал в ее шкаф?

– Это еще зачем?

Конечно, такая простая идея никогда не пришла бы ему в голову.

– Загляни.

Он сходил и вернулся с отчетом, что в шкафу ничего нет, ни одной вещи – ни летней, ни зимней, только старые вешалки. Я велела ему осмотреть весь дом. Обувь тоже исчезла. Исчезли немногочисленные книги. Исчезли все фотографии. Исчезли видеозаписи. Исчез компьютер и даже старые дискеты, которые давным-давно не использовались, – все атрибуты волшебницы, невероятно ловко управлявшейся с любой электроникой и освоившей калькулятор еще в конце шестидесятых, в эпоху перфокарт. Рино был поражен.

– Не торопись, ищи хорошенько, – сказала я ему. – Потом, если найдешь хоть одну ее шпильку, позвони мне.

Он позвонил мне на следующий день, очень взволнованный:

– Ничего.

– Совсем ничего?

– Нет. Она отрезана со всех фотографий, на которых мы были вместе, даже с моих детских.

– Ты хорошо искал?

– Везде смотрел!

– И в подвале?

– Я же сказал тебе – везде. Пропала даже коробка с документами: ну, всякие там старые свидетельства о рождении, договоры с телефонной компанией, квитанции. Что это значит? Нас ограбили? Что они искали? Чего хотят от нас с матерью?

Я успокоила его, убедила, что бояться нечего. Особенно ему: уж от него-то точно никто ничего не хочет.

– Можно я приеду и немного поживу у тебя?

– Нет.

– Ну пожалуйста! Я совсем не сплю.

– Ничего, сам справишься. Я не знаю, чем тебе помочь.

Я повесила трубку и не ответила, когда он перезвонил. Потом уселась за письменный стол.

Лила, как обычно, перегибает палку, подумала я.

Она слишком широко понимала, что значит «не оставить следов». Захотела не просто исчезнуть, сейчас, в шестьдесят шесть лет, но и перечеркнуть всю прожитую жизнь.

Я ужасно разозлилась.

«Посмотрим, кто кого на этот раз», – подумала я, включила компьютер и начала описывать нашу историю – всю, в подробностях, которые сохранила моя память.

ДЕТСТВО

Наша дружба с Лилой началась в тот день, когда мы решили подняться по темной лестнице, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, к самой двери квартиры дона Акилле.

Я помню двор в сиреновом свете, запахи теплого весеннего вечера. Мамы готовили ужин, и нам пора было по домам, но мы опаздывали: как обычно, и словом не обмолвившись, мы затеяли очередное соревнование – проверку на смелость. С некоторых пор и в школе, и после занятий мы только этим и занимались. Лила совала руку в черную пасть трубы, и я с замиранием сердца повторяла то же, надеясь, что меня не атакуют тараканы и не покусает мышь. Лила влезала на окно синьоры Спаньюоло на первом этаже, хваталась за железную перекладину, к которой крепились веревки для сушки белья, раскачивалась и прыгивала на тротуар, и я следом за ней проделывала то же самое, хотя боялась упасть и ушибиться. Лила втыкала под кожу ржавую булавку, которую когда-то нашла на улице и носила в кармане как подарок феи, и я смотрела, как металлическая игла пробивает белесый туннель на ее ладони. Потом она вытаскивала булавку, протягивала мне, и я тоже колола себе руку.

Однажды она, как обычно прищурившись, пристально посмотрела на меня и указала на дом, в котором жил дон Акилле. Я похолодела от страха. Дон Акилле был настоящим людоедом из сказок, мне строго-настрога запрещали приближаться к нему, заговаривать с ним, смотреть на него или следить за ним; мне велели делать вид, что ни его, ни его семьи не существует. В моем доме, и не только в моем, все боялись его и ненавидели; я не знала, чем он это заслужил. Мой отец говорил о нем так, что мне он представлялся огромным, покрытым фиолетовыми наростами свирепым чудовищем, несмотря на частицу «дон», внушавшую мне непререкаемое уважение. Не знаю, из чего было создано это существо – из железа, стекла, а может, из крапивы, – но оно было живым, живым, и из носа и изо рта у него вырывалось пылающее дыхание. Я верила, что, если взгляну на него даже издалека, он прыснет мне в глаза чем-нибудь острым и жгучим. А если осмелюсь приблизиться к двери его дома, он меня убьет.

Я подождала немного, на случай, если Лида вернется. Я знала, что она собирается сделать, и надеялась: вдруг передумает? Но нет, она не передумала. Фонари еще не зажгли, лампочки на лестницах тоже. Из окон доносились раздраженные голоса. Чтобы последовать за ней, мне надо было из залитого серо-голубым светом двора шагнуть в черноту подъезда. Когда я наконец решилась и вошла, то поначалу ничего не видела, только чувствовала запах затхлости и дихлофоса. Потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружила Лиду, сидевшую на первой ступеньке первого пролета. Она встала, и мы начали подъем.

Мы двигались, прижимаясь к стене; она на две ступеньки впереди, я – на две позади, раздираемая сомнениями: догнать ее или отстать еще больше. До сих пор помню свои ощущения: плечо задевает за стену с облупившейся краской, а ступеньки очень высокие, выше, чем у нас в доме. Меня трясло. Когда мы слышали чьи-то шаги или голос, нам казалось, что это дон Акилле подкрадывается к нам сзади или идет навстречу с длинным ножом вроде того, каким разделяют курицу. Пахло жареным чесноком. Я представляла себе, как Мария, жена дон Акилле, бросает меня на сковородку с кипящим маслом. Потом их дети меня съедят, а он обсосет мою голову, как делает мой отец, когда ест барабульку.

Мы то и дело останавливались, и каждый раз я надеялась, что Лида повернет назад. Не знаю, как она, а я вся вспотела. Время от времени она поглядывала вверх, но я не понимала зачем, потому что в пролетах виднелись только серые окна. Вдруг зажегся свет, однако пыльные лампочки горели тускло, и часть лестницы по-прежнему тонула во тьме и была полна опасностей. Мы остановились и насторожили уши – вдруг это дон Акилле включил свет, – но ничего не услышали: ни шагов, ни скрипа открывающейся или закрывающейся двери. Лида пошла вперед – я потащилась следом за ней.

Она верила, что делает что-то важное и необходимое, зато у меня не было ни единой причины находиться там, кроме одной: идти за Лилой. Мы медленно приближались к самому страшному из наших тогдашних кошмаров, мы поднимались навстречу своему страху.

Когда мы дошли до четвертого пролета, Лида неожиданно остановилась, дождалась меня, а когда я ее догнала, протянула мне руку. Этот жест все изменил между нами. Навсегда.

Во всем была виновата она. Незадолго до того – дней за десять или за месяц, не знаю, мы не задумывались о времени – она без спросу взяла у меня куклу и бросила ее в подвал. Если сейчас мы поднимались навстречу страху, то тогда нам пришлось бегом спускаться вниз, в неизвестность. Вверх или вниз, но нам всегда казалось, что мы двигаемся навстречу чему-то ужасному, что существовало еще до нашего рождения и ждало нас, именно нас. Тому, кто не так давно появился на свет, трудно отличить настоящую беду от предчувствия беды, а может, и не нужно. Взрослые живут сегодня в ожидании завтра и оставляя позади вчера, позавчера, максимум прошлую неделю – на большее их не хватает. А вот дети не знают, что такое «вчера», «позавчера» или «завтра», – для них существует только «здесь и сейчас»: вот улица, вот дверь, вот лестница, это мама, это папа, это день, это ночь. Я была ребенком, и, по правде говоря, даже моя кукла знала больше, чем я. Я говорила с ней, она – со мной. У нее была целлулоидная голова с целлулоидными волосами и такими же глазами. Кукла была очень красивая, в синем платице, сшитом моей матерью в редкий счастливый момент жизни. У Лилы тоже была кукла – с туловищем из пожелтевшей материи, набитой опилками; мне она казалась некрасивой и грязной. Куклы оценивающе поглядывали друг на дружку, следили друг за дружкой и при первых раскатах далекого грома готовы были вывалиться у нас из рук, словно кто-то большой и сильный, с острыми зубами, хотел их схватить.

Мы вместе играли во дворе, но играли каждая сама по себе. Лила сидела на земле по одну сторону от подвального окошка, я – по другую. Больше всего это место привлекало нас тем, что на цементном основании решетки, между прутьями которой была натянута металлическая сетка, можно было раскладывать всякие кукольные мелочи – камешки, крышки от газировки, цветочки, гвозди, осколки стекла. Я слушала, что Лила говорит своей кукле Ну, и то же повторяла своей Тине, немного меняя слова. Если она нацепляла на голову Ну крышечку, как будто это шляпа, я говорила: «Тина, надень корону, королеве нельзя простужаться». Если Ну в руках у Лилы играла в классики, вскоре и Тина принималась прыгать. Но мы пока ни разу не договаривались, во что будем играть, и никогда не играли вместе. Даже в это место мы приходили порознь. Лила направлялась туда напрямиком, а я бродила вокруг, делая вид, будто присматриваюсь. Потом как ни в чем не бывало располагалась у того же окошка подвала, только с другой стороны.

Из подвала веяло холодком, весной и летом особенно приятным, и это тоже приманивало нас к окошку. Еще нам нравились темнота, решетка в паутине и красноватая от ржавчины сетка с закрученными в спираль уголками: в дырки можно было бросать камешки и слушать, как они со стуком падают на пол. В общем, там было красиво и страшно. Через эти отверстия темнота могла внезапно схватить наших кукол, которые то прятались от нее у нас на руках, то нарочно оказывались рядом с витой решеткой, поближе к холодному дыханию подвала, к доносившимся оттуда пугающим звукам – шорохам, скрипу, скрежету.

Тина и Ну не были счастливы. Они разделяли страхи, которые мы переживали каждый день. Мы не очень-то доверяли свету, падавшему на камни, здания, траву и деревья, на людей, что ходили по улицам или сидели по домам. Мы выискивали в них темные уголки, скрытые чувства, подавленные, но готовые вырваться наружу. В этих темных зевах, этих пещерах под окрестными домами, таилось все то, что пугало нас при свете дня. Дон Акилле, например, обитал не только у себя на последнем этаже, он был и тут, внизу, паук среди пауков, мышь среди мышей, неясная форма, способная принять любой облик. Я представляла его с приоткрытым из-за длинных звериных клыков ртом, с телом из глазурированного камня, поросшего ядовитой травой, с огромной черной сумкой, в которую он прибирал все, что мы бросали за решетку. Эта сумка была главным атрибутом дона Акилле: он всегда носил ее с собой, даже дома, и складывал туда все живое и мертвое.

Лиля знала, чего я боюсь, – моя кукла вслух говорила об этом. Поэтому в тот день, когда мы, общаясь взглядами и жестами, впервые обменялись куклами, она взяла Тину и сразу столкнула ее за решетку, в темноту.

3

Лиля появилась в моей жизни в первом классе начальной школы и сразу же поразила меня: она была ужасной злокой. Все мы проказничали, когда не видела учительница Оливьеро, но Лиля всегда вела себя отвратительно. Однажды она разорвала промокашку на кусочки, затолкала их в чернильницу, потом стала вылавливать один за другим и кидать нам в спину. В меня она попала дважды: один раз в волосы, другой – в белый воротничок. Учительница, как обычно, завопила своим резким, пронзительным голосом, которого мы все ужасно боялись, и в наказание приказала ей немедленно идти к доске. Лиля не послушалась и вроде бы даже не испугалась; более того, она продолжила

швыряться шариками из промокашки, пропитанными чернилами. Тогда учительница Оливьеро, грузная дама, казавшаяся нам старухой, хотя было ей, наверное, чуть за сорок, вышла из-за стола и грозно направилась к Лиле, но споткнулась, потеряла равновесие, ударилась лицом об угол парты и рухнула на пол. Она лежала без движения, как мертвая.

Что было потом, я не помню, помню только неподвижное тело учительницы, похожее на темный мешок, и серьезный взгляд смотревшей на него Лилы.

В моей памяти сохранилось много подобных историй. Мы жили в таком мире, где дети и взрослые часто ранились до крови, у кого-то раны начинали гноиться, и иногда человек умирал. Одна из дочерей торговли фруктами синьоры Ассунты порезалась ножом и умерла от столбняка. Младший сын синьоры Спаньюоло умер от крупы. Мой двадцатилетний кузен однажды утром отправился чинить каменную ограду, а вечером его, раздавленного обломками, нашли в луже крови, которая натекла изо рта и из ушей. Отец моей матери погиб на стройке: упал с высоты. У отца синьора Пелузо не было руки: ее отрезало токарным станком. Сестра Джузеппины, жены синьора Пелузо, скончалась от туберкулеза в двадцать два года. Старший сын дона Акилле – я никогда его не видела, но мне почему-то казалось, что я его помню, – ушел на войну и умер дважды: сначала утонул в Тихом океане, а потом его съели акулы. Целая семья Мелькиоре так и умерла в обнимку, завывая от страха, во время бомбежки. Старая синьора Клоринда умерла, надышавшись вместо воздуха газа. Джаннино, который был в четвертом классе, когда мы учились в первом, умер из-за того, что нашел бомбу и решил ее потрогать. Луиджина, с которой мы играли во дворе – а может, и не играли, просто мне запомнилось имя, – умерла от сыпного тифа. В нашем мире было много слов, которые убивают: круп, столбняк, сыпной тиф, газ, война, токарный станок, каменная ограда, работа, бомбежка, бомба, туберкулез, воспаление. Эти слова и связанные с ними страхи остались со мной на всю жизнь.

Умереть можно было даже от чего-то вроде бы обыкновенного. Например, если вспотеть, а потом выпить холодной воды из-под крана, не ополоснув предварительно руки: у некоторых после этого высыпала красная сыпь, начинался кашель и человек задыхался. Можно было умереть, съев черешню и подавившись косточкой. Можно было умереть, жуя жвачку и нечаянно ее проглотив. Но особенно страшно было умереть от удара в висок. Висок был самым уязвимым местом, его надо было особенно оберегать. Один удар камнем – и всё, а кидаться камнями у нас считалось нормальным. Как-то раз, когда мы

выходили из школы, банда деревенских мальчишек во главе с Энцо, он же Энцуччо, одним из сыновей торговли фруктами Ассунты, принялась швыряться в нас камнями. Они обиделись на то, что мы, девчонки, учимся лучше их. Мы убежали – все, кроме Лилы: она продолжала идти ровным шагом, время от времени останавливаясь. Она безошибочно просчитывала траекторию полета камней и уклонялась от них спокойно, сегодня я бы сказала – элегантно. У нее был старший брат, может, она у него научилась, не знаю; у меня тоже были братья, но младшие, и от них я ничему не могла научиться. Как бы то ни было, заметив, что она отстала, я встревожилась и остановилась ее подождать.

Уже тогда что-то мешало мне уйти. Я не знала ее толком, мы еще не перекинулись ни словом, хотя постоянно соперничали и в классе, и после школы. Но я смутно чувствовала, что если убегу вместе с другими девчонками, то она заберет частичку меня себе и больше никогда мне ее не вернет.

Сначала я спряталась за углом дома и стала выглядывать из-за него, не идет ли Лила. Она не трогалась с места, и я принесла ей камни, несколько штук даже бросила сама, довольно неуверенно. Я много чего в жизни делала, но всегда сомневалась в себе, всегда чувствовала, что мои поступки существуют словно отдельно от меня. Лила, напротив, с детства (кажется, тогда нам было лет по шесть или семь, сейчас не могу сказать точно, а когда мы вместе отправились вверх по лестнице к квартире донна Акилле, – по восемь, почти по девять) отличалась непреклонной решительностью. Если она к чему-то прикасалась – к перьевой ручке, камню или перилам на темной лестнице, – можно было не сомневаться: что бы она ни задумала – вонзить перо в парту, кидаться чернильными шариками, бросить камень в мальчишек из деревни или подойти к двери донна Акилле, – сделает это без колебаний.

Мальчишки по пути в школу переходили железнодорожную насыпь и там, между путями, набирали камней. Второгодник Энцо, главарь, был очень опасным: по меньшей мере на три года старше нас, с очень короткими светлыми волосами и светлыми глазами. Он метко швырял маленькие камни с острыми краями, а Лила ждала его бросков, чтобы показать ему, как ловко она уклоняется, разозлить его еще больше и сразу ответить столь же опасным ударом. Один раз мы попали ему в правую лодыжку – я говорю «мы попали», потому что это я подала Лиле плоский камень со сколотыми краями. Камень скользнул по коже Энцо как бритва, оставив красное пятно, из которого сразу же потекла кровь. У меня до сих пор стоит перед глазами картинка, как мальчишка смотрит на раненую ногу: большим и указательным пальцами он держит камень и уже занес руку для

броска, но вдруг удивленно замирает. Остальные мальчишки из его шайки тоже смотрели на кровь, не веря своим глазам. Лила не выразила никакой радости, что ее попытка удалась, и наклонилась за следующим камнем. Я схватила ее за руку. Тогда мы впервые коснулись друг друга и сами испугались этого резкого касания. Я понимала, что мальчишки вот-вот разозлятся не на шутку, и нам лучше отступить. Но было уже поздно. Хотя у Энцо и текла кровь, он быстро вышел из ступора и бросил камень, который держал в руке. Я все еще крепко сжимала руку Лилы, когда камень попал ей в лоб. Ее рука вырвалась из моей. Мгновение спустя Лила лежала на тротуаре с пробитой головой.

4

Кровь. Обычно она текла из ран только после обмена ужасными проклятиями и мерзкими ругательствами. Всегда именно в таком порядке. Мой отец, который вообще-то казался мне добрым человеком, постоянно костерил тех, кто, как он говорил, не достоин ходить по земле. Особенно дона Акилле. Отец всегда находил, в чем его упрекнуть, и я иногда закрывала руками уши, чтобы не слышать бранных слов, которые тогда производили на меня сильное впечатление. Говоря о нем с матерью, отец называл его «твой родственничек», на что мать возражала (они и вправду состояли в родстве, но очень дальнем) и добавляла оскорблений в его адрес. Меня пугала их озлобленность, а еще больше – что у дона Акилле могут оказаться чуткие уши, и он даже на большом расстоянии услышит, как его кроют. Я боялась, что он придет и убьет родителей.

И все же заклятым врагом дона Акилле был не мой отец, а синьор Пелузо, прекрасный столяр, вечно сидевший без денег, поскольку проигрывал все, что зарабатывал, в подсобке бара «Солара». Пелузо был отцом нашей одноклассницы Кармелы, взрослого сына Паскуале и еще двоих мальчишек. Они были беднее нас. Мы с Лилой иногда играли с младшими детьми Пелузо, но они вечно норовили что-нибудь у нас стащить: ручку, ластик, кусочек айвового мармелада... Мы им наподдавали, и они возвращались домой в шишках и синяках.

Синьор Пелузо представлялся нам воплощением отчаяния. С одной стороны, он и правда всегда проигрывал, с другой – все его осуждали, что он не в состоянии прокормить семью. По непонятным причинам в своих несчастьях он винил дона Акилле. Утверждал, что тот одним махом – словно гигантский магнит – утащил у него необходимые для работы столярные инструменты и еще какое-то добро,

хранившееся в мастерской. Якобы дон Акилле забрал у него и саму мастерскую и превратил ее в колбасную лавку. Долгие годы я представляла себе, как дон Акилле всасывает в себя пилу, щипцы, молоток, тиски и целый рой железных гвоздей. А из его грубого, тяжелого, корявого тела вылетают колбасы, ветчина, топленый жир и сыр проволоне – тоже роем.

Давние темные времена. Дон Акилле, вероятно, показал всю свою чудовищную сущность еще до нашего рождения. Раньше. Лила часто употребляла это слово – и в школе, и после уроков. При этом казалось, что ее не слишком волнует то, что было до нас, – все эти мрачные события, о которых взрослые или молчали, или говорили уклончиво, – поскольку все это на самом деле случилось «раньше». Но само это «раньше» очень беспокоило ее, а иногда и злило. Когда мы подружились, она часто рассуждала об этом еще до нас, которое закончилось, и страшно раздражала меня этими нелепыми разговорами. Это был такой долгий, очень долгий период, когда нас не было, когда дон Акилле предстал перед всеми в своем истинном обличье – опасным существом с не то каменной, не то звериной головой, которое всем пускало кровь, само не теряя ни капли. Кажется, его невозможно было даже поцарапать.

Мы были, наверное, во втором классе и еще не разговаривали друг с другом, когда пронесся слух, будто прямо у порога церкви Святого Семейства синьор Пелузо, выходя после мессы, начал выкрикивать что-то злобное о доне Акилле, а дон Акилле, отодвинув в сторону старшего сына Стефано, дочь Пинуччу, нашего ровесника Альфонсо и жену, бросился на Пелузо, схватил его, поднял над землей и швырнул так, что тот ударился о дерево и остался лежать без сознания с сотней ран на голове и на теле, из которых текла кровь. Бедняга не мог даже позвать на помощь.

5

Я нисколько не тоскую по детству: наше детство было полно насилия. Насилие преследовало нас повсюду, дома и на улице, но не помню, чтобы я хоть раз подумала, что нам выпала тяжкая доля. Наша жизнь была такой, какой была, и все тут; мы росли, считая своим долгом усложнить ее другим раньше, чем они усложнят ее нам. Конечно, я была совсем не против вежливости и уважения, которые проповедовали учительница и священник, но чувствовала, что в нашем квартале им не место, даже среди женщин. Женщины дрались между собой чаще, чем мужчины: таскали друг друга за волосы, охотно причиняли друг другу

боль. Это было что-то вроде болезни. В детстве я представляла себе маленьких-маленьких животных, почти невидимых, которые по ночам приходят в наш район, вылезают из прудов, из заброшенных железнодорожных вагонов за насыпью, из травы, которую за жуткий запах называли вонючкой, из лягушек, саламандр и мух, из камней и пыли и попадают в воду, в еду и в воздух, и из-за них наши мамы и бабушки становятся злобными, как бешеные собаки. Они были заражены сильнее, чем мужчины: мужчины то и дело впадали в бешенство, но потом успокаивались, а женщины с виду казались спокойными, молчаливыми, но, когда злились, доходили в своей ярости до самого края и уже не могли остановиться.

На Лилу произвело огромное впечатление случившееся с Мелиной Капуччо, родственницей ее матери. И на меня тоже. Мелина жила в том же доме, что и мои родители: мы на втором этаже, она – на третьем. Хотя нам она казалась старухой, на деле ей чуть перевалило за тридцать. У нее было шестеро детей. Муж, ее ровесник, разгружал ящики на овощном рынке. Мне он запомнился низеньким и полноватым, но красивым мужчиной с гордым выражением лица. Однажды ночью он вышел из дома, как обычно, и не вернулся – то ли умер от усталости, то ли его убили. Похороны были очень печальными, на них собрался весь район, пришли даже мои родители и родители Лилы. Спустя совсем немного времени с Мелиной приключилось что-то странное. Внешне она осталась такой же: сухощавой, с большим носом, уже седыми волосами и пронзительным голосом, которым она, высовываясь из окна, зазывала детей, от отчаяния и злости растягивая звуки их имен: «Ааа-дааа, Миии-ке?». Ей помогал Донато Сарраторе, который жил прямо над ней – на последнем, четвертом, этаже. Донато часто ходил в церковь Святого Семейства и, будучи примерным христианином, всю старался для Мелины: собирал деньги, поношенную одежду и обувь, устроил работать ее старшего сына Антонио в мастерскую к своему знакомому, некоему Горрезио. Мелина была так ему благодарна, что благодарность в ее безутешном сердце переросла в любовь, а любовь – в страсть. Неизвестно, догадывался об этом сам Сарраторе или нет. Он был очень добрым, но очень серьезным человеком: дом, церковь, работа. Он служил в поездной бригаде Государственной железной дороги и получал хорошее жалованье, на которое достойно содержал жену Лидию и пятерых детей; его старшего сына звали Нино. Его поезд ходил по маршруту Неаполь-Паола и обратно, и когда Сарраторе был не на работе, то полностью посвящал себя дому: вечно что-то чинил, ходил по магазинам, гулял с коляской. В нашем квартале это считалось ненормальным. Никому не приходило в голову, что Донато старается облегчить жизнь жене. Нет, все мужчины по соседству, и мой отец в первую очередь, считали, что Сарраторе просто нравится вести себя как женщина, тем

более что он писал стихи и с удовольствием читал их всем подряд. Мелина тоже этого не понимала. Вдова предпочитала думать, что он по доброте души позволил жене сесть себе на шею, и объявила Лидии Сарраторе войну, надеясь освободить его и дать ему возможность навсегда остаться с ней, Мелиной. Поначалу разгоревшаяся свара казалась мне игрой, хотя дома и за его пределами о ней говорили со злорадным смехом. Лидия развешивала чистые, только что выстиранные простыни, а Мелина вылезала на подоконник и прожигала их специально ради этого зажженной сигаретой; Лидия проходила под окнами, а Мелина плевала или опрокидывала ей на голову ведро грязной воды; Лидия вместе со своими взбесившимися детьми изо всех сил топала у Мелины над головой, а Мелина ночи напролет остервенело стучала в потолок шваброй. Сарраторе всеми возможными способами пытался примирить их, но он был слишком деликатным, слишком вежливым. Обиды копились, и обе женщины взяли за правило, даже случайно сталкиваясь на улице или на лестнице, честить друг друга по-всякому, оглашая окрестности яростными воплями. Вот тогда я начала их бояться. Одна из самых кошмарных сцен из моего детства – раздаются крики Мелины и Лидии; они осыпают друг друга оскорблениями, сперва высунувшись из окон, потом выскочив на лестницу. Моя мать бросается к двери, открывает ее и вместе с нами, детьми, выбегает на лестничную площадку. Финал – картина, невыносимая для меня даже сегодня: две соседки, сцепившись, скатываются по ступеням, и голова Мелины ударяется о пол, как выскользнувшая из рук дыня, в нескольких сантиметрах от моих ног.

Мне трудно об этом вспоминать, потому что в те времена мы, дети, заняли сторону Лидии Сарраторе. Возможно потому, что у нее были правильные черты лица и светлые волосы. Или потому, что мы понимали: Мелина хочет отобрать у Лидии ее мужа Донато. Или потому, что дети Мелины ходили грязные, в лохмотьях, а дети Лидии – чистенькие, причесанные, причем Нино, на пару лет старше нас, настоящий красавчик, очень нам нравился. Одна Лиля склонялась на сторону Мелины, хотя никогда не объясняла почему. Она только сказала однажды, что было бы неплохо, если бы все закончилось убийством Лидии Сарраторе. Я тогда решила, что Лиля говорит так потому, что в душе она злая, а еще потому, что Мелина приходится ей дальней родственницей.

Как-то раз мы возвращались из школы вчетвером или впятером. С нами была Мариза Сарраторе, которую мы обычно брали с собой – не то чтобы она нам нравилась, просто мы надеялись через нее познакомиться с ее старшим братом Нино. Это она первая заметила Мелину. Женщина медленно шла по другой стороне улицы; в одной руке она держала бумажный кулек, а другой что-то доставала из него и ела. Мариза указала на нее пальцем и обозвала потаскухой –

без всякого презрения, просто повторяя слово, которое слышала дома от матери. Ли́ла, хоть и была ниже ростом и совсем тощая, вlepила ей такую затрещину, что Мариза повалилась на землю. Причем ударила ее Ли́ла хладнокровно, как всегда, когда дело доходило до драки: ни крика до, ни крика после, ни предупреждения, ни выпученных глаз – невозмутимо и решительно.

Я сначала помогла расплакавшейся Маризе подняться, а потом обернулась на Лилу. Та шагала через дорогу к Мелине, не обращая внимания на грузовики. Я не видела ее лица, но что-то в ее походке меня поразило, что-то, что мне до сих пор трудно описать. Даже сегодня вряд ли смогу это толком объяснить: несмотря на то что она – маленькая, черная, встрепанная – не стояла на месте, а шла, мне она казалась неподвижной. Как будто застыла от жалости, глядя, что делает ее дальняя родственница, застыла будто соляной столб. Она словно срослась с Мелиной, которая в одной руке держала кулек с мягким мылом, только что купленным в подвале у дoна Карло, а другой рукой зачерпывала из него и ела.

6

Как я уже говорила, когда учительница Оливьеро упала в классе и ударилась головой об угол парты, я подумала, что она умерла – умерла на работе, как мой дед или муж Мелины, и мне казалось, что следом за ней умрет и Ли́ла, потому что ее страшно накажут. Тем не менее в течение некоторого времени – не могу сказать, какого точно – вообще ничего не происходило. Просто обе они, и учительница и ученица, исчезли из нашей повседневной жизни и из моей памяти.

Потом началось нечто удивительное. Учительница Оливьеро вернулась в школу живой и здоровой, но не стала наказывать Лилу, что было бы естественно, а, наоборот, начала ее хвалить.

Эта новая фаза наступила, когда мать Лилы, синьору Черулло, вызвали в школу. Однажды утром к нам в дверь постучал сторож и объявил, что она здесь. Следом за ним в класс вошла Нунция Черулло: ее было не узнать. Как и большинство жительниц нашего квартала, она вечно ходила лохматая, в тапочках и каком-то старье, а теперь явилась в выходном темном платье (как будто собралась на свадьбу, причастие, крестины или похороны), с черной лакированной сумочкой, в туфлях на небольшом каблуке, которые причиняли страдания ее опухшим ногам, и передала учительнице два бумажных пакета – один с сахаром, второй с кофе.

Учительница охотно приняла подарок и, обращаясь к синьоре Черулло и ко всему классу, но глядя при этом на Лилу, которая сидела уставившись в парту, произнесла несколько фраз, общий смысл которых совсем сбил меня с толку. Мы учились в первом классе начальной школы и в то время только осваивали алфавит и счет от одного до десяти. Лучшей в классе была я – знала все буквы, умела считать: «один», «два», «три», «четыре» и так далее. Меня всегда хвалили за красивый почерк, я выигрывала трехцветные банты из лент, которые шила учительница. Но синьора Оливьеро ни с того ни с сего объявила, что лучшая ученица в классе – Лила, несмотря на то что из-за нее попала в больницу. Да, она самая злая. Да, возмутительно, что она кидалась в нас чернильными бумажными шариками. Да, если бы эта девочка лучше вела себя и не нарушала дисциплину, учительница не упала бы и не повредила бы скулу. Да, ее следовало бы почаще наказывать: бить указкой или ставить коленями на горox за доской. Но есть кое-что еще, что переполняет ее – как учительницу и как человека – радостью, кое-что очень хорошее, что она случайно обнаружила несколько дней назад.

Тут она остановилась, как будто ей не хватало слов или как будто она хотела показать и нам, и матери Лилы, что бывают ситуации, когда слова не нужны. Она взяла мел и написала на доске (что именно, я не помню, читать я тогда еще не умела, поэтому слово придумываю сама): «солнце».

– Черулло, что здесь написано? – спросила она Лилу.

В классе воцарилась настороженная тишина. Лицо Лилы тронула легкая улыбка, скорее ухмылка; повернувшись спиной к соседке по парте, которая сидела с надутым видом, Лила сердитым голосом буркнула: «Солнце».

Нунция Черулло смотрела на учительницу растерянно, почти с испугом. Синьора Оливьеро сначала не поняла, почему глаза матери не светятся таким же восторгом, как у нее. Потом она, должно быть, догадалась, что Нунция Черулло не умеет читать или, по крайней мере, не уверена, что на доске написано именно слово «солнце». Она нахмурилась и, во-первых, чтобы объяснить Нунции Черулло, что происходит, а во-вторых, чтобы похвалить Лилу, сказала:

– Молодец! Здесь действительно написано «солнце».

Потом она позвала:

- К доске, Черулло. Иди к доске.

Лила нехотя подошла к доске, и учительница протянула ей мел:

- Напиши слово «класс».

Лила очень сосредоточенно, неровным почерком – одна буква выше, другая ниже, – написала «клас».

Синьора Оливьеро добавила вторую «с».

- Ты ошиблась! – с возмущением воскликнула синьора Черулло, обращаясь к дочери.

Но учительница тут же прервала ее:

- Нет-нет-нет! Конечно, Лиле еще нужно выучить правила, это да, но она уже умеет читать и писать. Кто ее научил?

Синьора Черулло опустила глаза:

- Не я.

- В вашей семье или в доме есть кто-нибудь, кто мог ее научить?

Нунция уверенно замотала головой.

Тогда учительница повернулась к Лиле и – специально для нас – с неподдельным восхищением спросила:

- Кто научил тебя читать и писать, Черулло?

Черулло, маленькая, темноволосая и темноглазая, в черном фартуке, с красным бантом на шее и всего шестью годами жизни за плечами, ответила:

- Я.

7

Рино, самый старший брат Лилы, утверждал, что она научилась читать года в три, рассматривая буквы и картинки в его букваре. Когда он на кухне делал уроки, она садилась рядом и запоминала больше, чем удавалось ему.

Рино был старше Лилы почти на шесть лет; он был смелым мальчишкой и чемпионом всех дворовых и уличных игр, особенно струммоло.[2 - Струммоло - старинная неаполитанская игра, в ходе которой деревянный волчок на металлической ножке раскручивают особым образом при помощи бечевки. (Здесь и далее прим. пер.)] Но читать, писать, считать, учить стихи наизусть - к этим занятиям он склонности не имел. Ему не исполнилось и десяти, когда отец, Фернандо, начал каждый день брать его с собой в мастерскую - каморку в переулке через дорогу - и учить ставить подметки на обувь. Когда мы с девочками встречали его, от него всегда пахло невымытыми ногами, старой обувью и гуталином, за что мы дразнили его башмачником. Может, потому он и хвастался, что сестра выучилась читать благодаря ему. На самом деле у него никогда не было букваря, и он ни минуты не проводил за уроками. Так что Лиля никак не могла ничему у него научиться. Скорее уж, она поняла, как устроен алфавит, рассматривая газетные листы, в которые клиенты заворачивали старые ботинки, - отец иной раз приносил их домой и читал нам вслух самые интересные новости.

В общем, так или иначе, но факт оставался фактом: Лиля умела читать и писать. От того серого утра, когда учительница поведала нам об этом, у меня в памяти осталось только неясное, близкое к обмороку ощущение, вызванное новостью. С первого дня занятий мне казалось, что в школе намного лучше, чем дома. Это было единственное место, где я чувствовала себя в безопасности, и я всегда ходила в школу с радостью. Внимательно слушала на уроках, старательно выполняла все задания, все понимала. Но больше всего мне нравилось нравиться учительнице. Мне вообще нравилось нравиться всем. Дома я была любимицей отца, брата и сестра тоже меня любили. Другое дело - мать. С ней мы вечно были на ножах. По-моему, лет с шести, если не раньше, она постоянно давала мне понять, что я в ее жизни лишняя. Я ей не нравилась, а она не нравилась мне. Ее внешность казалась мне отталкивающей, и она, надо думать, догадывалась об этом. Она была пышнотелой голубоглазой блондинкой, но ее правый глаз

всегда смотрел непонятно куда. И правая нога у нее не работала: мать называла ее костылем. Она хромала, и звук ее неровных шагов пугал меня, особенно по ночам, когда ей не спалось и она бродила туда-сюда по коридору, до кухни и обратно. Иногда я слышала, как она яростно бьет каблуком об пол – давит тараканов, вползающих из-под входной двери, и представляла ее злобные глаза – такие же, какими она смотрела на меня, когда сердилась.

Конечно, она не была счастлива, ее изнуряли домашние заботы, и денег постоянно не хватало. Она часто злилась на отца, швейцара в муниципалитете, кричала, что он должен что-нибудь придумать и что дальше так продолжаться не может. Они ссорились. Поскольку отец никогда не повышал голоса, даже когда терял терпение, я всегда была за него и против нее, несмотря на то что иногда он ее бил, да и мне доставалось. Именно он, а не мать, в первый школьный день сказал мне: «Ленучча! Учись хорошо – и мы разрешим тебе учиться дальше. Но если ты не будешь учиться хорошо, лучше всех, помни, что папе нужна помощница. Тогда пойдешь работать». Его слова очень напугали меня, и, хотя произнес их он, они как будто исходили от матери, как будто она их придумала и заставила его все это сказать. Я пообещала обоим, что буду хорошо учиться. Учеба у меня сразу пошла хорошо, так что учительница часто говорила: «Греко, иди сюда, сядешь рядом со мной».

Это считалось большой привилегией. Рядом со столом синьоры Оливьеро всегда стоял пустой стул, на который она в качестве поощрения усаживала лучшего ученика. Поначалу рядом с ней постоянно сидела я. Она говорила мне добрые слова, хвалила мои светлые локоны и поддерживала во мне желание хорошо учиться – полная противоположность моей матери, которая без конца ругала меня, иногда такими ужасными словами, что мне хотелось одного: забиться в самый темный угол, где она никогда меня не найдет. А потом в класс пришла синьора Черулло, и учительница Оливьеро объявила, что лучшая ученица в классе – это Лила. С того дня она сажала ее рядом с собой чаще, чем меня. Не знаю, что во мне изменилось после того, как меня «разжаловали», – я и сегодня затрудняюсь точно описать, что я тогда испытала. Поначалу ничего особенного: немного зависти, как все остальные. Но именно в это время во мне поселился страх. Хотя обе мои ноги работали исправно и я постоянно носилась бегом, мне стало казаться, что я могу охрометь. Я просыпалась среди ночи и вскакивала с кровати – проверить, что с ногами у меня все в порядке. Возможно, поэтому я и приклеилась к Лиле: у нее ноги были худющие, быстрые, вечно в движении – она болтала ими, даже когда сидела рядом с учительницей, которую это очень раздражало, и та быстро отправляла Лилу обратно на место. Что-то подсказывало мне, что, если я всегда буду таскаться за ней и ходить ее

походкой, материна хромота, мысли о которой засели у меня в голове и не желали ее покидать, мне не грозит. Я решила, что должна равняться на эту девочку и никогда не выпускать ее из виду, даже если надоем ей и она меня прогонит.

8

Наверное, таким способом я боролась с завистью и ненавистью, душила их в себе. Или, может, пыталась скрыть от самой себя, что я у нее в подчинении, что она меня словно околдовала. Конечно, я уже почти смирилась с превосходством Лилы и с тем, что она мною помыкает.

К тому же учительница оказалась весьма проницательной. Она действительно часто сажала Лилу рядом с собой, но не в качестве награды, а для того, чтобы Лиля хорошо себя вела. В то же время она продолжала хвалить Маризу Сарраторе, Кармелу Пелузо и особенно меня. Она делала все, чтобы мой пыл не угас, вдохновляла меня, и я становилась все более дисциплинированной, все более старательной, все более сообразительной. Порой, когда неугомонная Лиля успокаивалась и обгоняла меня, что не стоило ей никаких усилий, синьора Оливьеро продолжала меня хвалить, может, чуть более сдержанно, и только потом начинала превозносить успехи Лилы. Ядовитое чувство поражения я испытывала только тогда, когда вперед меня вырывались Сарраторе или Пелузо. Если же я оказывалась второй после Лилы, то воспринимала это как должное. В те годы я боялась только одного: потерять разделенное с Лилой первое место в рейтинге, установленном синьорой Оливьеро, не услышать больше, как учительница с гордостью говорит: «Лучшие в классе – Черулло и Греко». Если бы однажды она сказала, что лучшие – Черулло и Сарраторе или Черулло и Пелузо, это стало бы для меня смертельным ударом. Поэтому я тратила все свои детские силы не на то, чтобы стать первой в классе – это представлялось невозможным, – а на то, чтобы не съехать на третье, на четвертое, на последнее место. Я училась как одержимая и занималась массой трудных, но совершенно неинтересных мне вещей только ради того, чтобы не отстать от этой ужасной и блистательной девчонки.

Блистательной она была только в моих глазах. Все остальные считали ее ужасной. С первого по пятый класс по вине директора и отчасти учительницы Оливьеро ни в школе, ни во всем квартале не было ни одной девочки, которую ненавидели бы сильнее, чем Лилу.

Как минимум два раза в год по распоряжению директора в школе проводился конкурс на звание лучшего ученика и, соответственно, лучшего учителя. Синьоре Оливьеро очень нравились такие состязания. В постоянной, едва не доходившей до драки войне с коллегами она использовала нас с Лилой как неопровержимое доказательство того, что она прекрасный, мало того – лучший учитель начальной школы в нашем квартале. Нередко она, даже не дожидаясь приказа директора, посылала нас в другие классы состязаться с другими девочками и мальчиками. Меня обычно посылали первой, на разведку, чтобы прощупать уровень подготовки противника. Обычно я побеждала, но никогда не перегибала палку и не унижала ни учеников, ни учителей. Я была хорошенькая, светловолосая, радовалась возможности показать себя, но при этом не наглела и держалась с подкупающей вежливостью. И пусть я лучше всех рассказывала стихотворение, назубок знала правила правописания, делила и умножала, помнила наизусть районы Альп: Альпы Приморские, Котские, Грайские, Пеннинские и так далее, – другие учителя только ласково хвалили меня, а ученики понимали, какого труда мне стоило запомнить все это, и поэтому относились ко мне без ненависти.

С Лилой все было по-другому. Уже в первом классе она знала намного больше, чем нужно для любого конкурса. Учительница даже говорила, что если бы она приложила немного усилий, то могла бы сразу сдать экзамен за второй класс и в неполные семь лет перейти в третий. В дальнейшем разрыв только увеличивался. Лила делала в уме сложнейшие вычисления, в ее диктантах не было ни единой ошибки, она всегда говорила на диалекте, как и все мы, но при необходимости с легкостью переходила на литературный итальянский, употребляла даже такие слова как «ординарный», «высокопарно», «беспрекословно». В общем, когда учительница отправляла на поле боя ее – определять времена и наклонения глаголов или решать задачи, – остальные теряли всякую надежду, им не удавалось скрыть огорчение, и они невольно ожесточались. До Лилы им было далеко.

Она никого не щадила. Признать ее успех для нас, детей, значило согласиться с тем, что нам никогда ее не догнать (и даже пытаться бесполезно), а для учителей – что их ученики, все как один, посредственности. Она соображала со скоростью звука, свиста, змеиного броска. И внешний облик ничего не менял – вечно растрепанная, грязная, коленки и локти – в не успевающих заживать ссадинах, покрытых коркой. Перед правильным ответом она по-особенному прищуривалась, и взгляд ее огромных блестящих глаз становился не просто недетским, а не совсем человеческим. Каждым своим жестом она показывала, что ее лучше не трогать, потому что она найдет способ за все отплатить с

лихвой.

Я не могла не замечать ненависть к Лиле – она носилась в воздухе. Эту неприязнь испытывали и девчонки, и мальчишки, но мальчишкам лучше удавалось ее скрывать. По каким-то неведомым соображениям учительница Оливьеро с особенным удовольствием водила нас в классы, где мы могли унижить не столько учениц и учительницу, сколько учеников и учителя. Директор в силу столь же загадочных причин тоже больше всего любил такие состязания. Позднее я решила, что в школе на них делали ставки, возможно немалые. Но я преувеличивала: скорее наша учительница таким способом сводила с коллегами старые счеты, а директор, наверно, видел в нем удобный повод надавить на менее старательных или склонных к непокорности учителей. Как-то раз, когда мы были во втором классе, нас обеих прямо с утра отвели в четвертый – ни больше ни меньше – класс учителя Ферраро, где учились Энцо Сканно, противный сын торговца овощами и фруктами, и Нино Сарраторе, брат Маризы, в которого я была влюблена.

Энцо знали все. Он был второгодник, и его уже два раза водили по всем классам, нацепив на шею табличку, на которой учитель Ферраро, длинный тощий мужчина с седым ежиком волос, узким лицом и беспокойным взглядом, написал: «Осел». А Нино – спокойного, тихого и красивого – любили многие, а уж я особенно. Разумеется, Энцо был, как мы тогда говорили, ноль без палочки, и мы обращали на него внимание только потому, что он не упускал случая подраться. Состязаться нам предстояло с Нино и с Альфонсо Карраччи, третьим сыном дона Акилле, очень прилежным учеником второго, как и мы, класса, хоть на вид и младше своих семи лет. Понятно, что учитель позвал его потому, что надеялся на него больше, чем на Нино, хотя тот был на два года старше.

Из-за неожиданного приглашения Карраччи между Оливьеро и Ферраро вспыхнули некоторые разногласия, но соревнование, на котором присутствовали сразу два класса, все же началось. Мы спрягали глаголы, отвечали таблицу умножения, решали примеры в четыре действия – сначала на доске, потом в уме. Кое-что показалось мне необычным, а потому запомнилось. Во-первых, меня сразу обошел Альфонсо Карраччи. Он держался спокойно и уверенно, а главное – не радовался, когда другой участник состязания делал ошибку. Во-вторых, Нино Сарраторе, к всеобщему удивлению, не ответил почти ни на один вопрос и стоял с растерянным видом, как будто не понимая, что происходит. В-третьих, Лила хоть и противостояла сыну дона Акилле, но как-то нехотя, будто ее не волновало, кто победит. Картина оживилась, только когда начался устный счет:

сложение, вычитание, умножение и деление. Альфонсо начал отставать от Лилы, ошибаясь в основном в умножении и делении, хотя Лиля отвечала как будто через силу, а иногда и вовсе молчала, словно не слышала вопроса. Поэтому многим из нас казалось, что они идут на равных. И как минимум дважды, когда Лиля промолчала, а Альфонсо ошибся в вычислениях, с задней парты раздался презрительный голос Энцо Сканно. И этот голос назвал правильный ответ.

Это поразило меня, учителей и директора. Как мог Энцо, ленивый, бездарный негодяй, делать в уме сложные вычисления лучше меня, Альфонсо Карраччи и Нино Сарраторе? Лиля сразу как будто проснулась. Альфонсо быстро выбыл из игры, и с уверенного согласия учителя, который сразу сменил фаворита, началась дуэль между Лилой и Энцо.

Они сражались долго. В какой-то момент директор, занявший место учителя, пригласил сына торговца овощами за учительский стол, где стояла Лиля. Энцо так и не встал из-за задней парты, где сидел в окружении своих дружков, лишь нервно хохотнул, но минутой спустя все-таки неловко поднялся и вышел к доске. Дуэль продолжалась, задания становились все сложнее. Мальчишка отвечал на диалекте, как будто находился на улице, а не в классе, и учитель исправлял ему произношение, но ответы Энцо всегда давал верные. В те минуты славы он очень гордился собой и сам поражался, насколько хорошо считает. Потом он начал сдавать, потому что Лиля окончательно проснулась и, сосредоточенно прищурившись, безошибочно называла числа. В конце концов Энцо проиграл. Проиграл, но не пожелал признать поражение и разразился потоком ужасной ругани. Учитель приказал ему встать за доской на колени, но Энцо отказался и получил палкой по костяшкам пальцев. Его за ухо оттащили в угол для наказаний. Так закончился учебный день.

С того дня банда мальчишек начала закидывать нас камнями.

9

Школьная дуэль между Лилой и Энцо важна для нашей долгой истории. В тот день проявились многие особенности ее характера, которые раньше было сложно объяснить. Например, стало очевидно, что Лиля, когда хотела, умела дозированно показывать свои способности. Именно так она поступила с сыном дона Акилле. Она не хотела быстро одержать над ним победу и нарочно не отвечала на некоторые вопросы, чтобы не позволить ему слишком рано сойти с

дистанции. Тогда мы еще не были подругами и я не могла спросить, почему она так себя повела. На самом деле спрашивать было незачем, о причине я и так догадывалась. Как и мне, Лиле запрещали обижать не только дону Акилле, но и членов его семьи.

Так уж сложилось. Мы не знали, откуда взялась эта боязнь-ненависть-вражда-осторожность, которую наши родители испытывали сами и передавали нам, но она воспринималась как данность – как наш квартал, его белесые дома, вонь на лестничных площадках, уличная пыль. По всей вероятности, Нино Сарраторе тоже поддался Альфонсо. Красивый, аккуратно причесанный, с длинными ресницами, худой и нервный, он открывал было рот, чтобы ответить на вопрос, но тут же умолкал. Я убеждала себя, что все так и есть, чтобы его не разлюбить, но втайне терзалась сомнениями. Самостоятельно он принял то же решение, что и Лида? Я не знала, что и думать. Сама я вышла из состязания потому, что Альфонсо действительно знал больше меня. Лида могла его тотчас обыграть, однако не стала. А он? Кое-что смущало меня, возможно даже огорчало: не его проигрыш, не его самопожертвование, но то, что он, как бы я сказала сегодня, прогнулся. Это невнятное бормотание, бледность, покрасневшие глаза: он был настолько же красив, насколько слаб, и мне эта слабость очень не понравилась!

Лида тоже в какой-то момент показалась мне очень красивой. Вообще-то, красивой была я, а она – тощая, как сушеный анчоус, невытая, с вытянутым узким лицом, очерченным двумя полосками прямых, черных-пречерных волос. Но когда она решила стереть с лица земли и Альфонсо, и Энцо, она вся засияла, как святая воительница. Разрумянилась от внутреннего жара, охватившего ее целиком, и я в первый раз в жизни подумала: «Лида красивее меня». Получается, я вторая во всем. Я надеялась только, что никто никогда этого не заметит.

Но главным открытием того утра было то, что слово, которым мы часто пользовались, чтобы избежать наказания, на самом деле могло сделать ситуацию неуправляемой и опасной. Я имею в виду слово «нечаянно». Энцо нечаянно вмешался в ход соревнования и нечаянно победил Альфонсо. Лида разгромила Энцо сознательно, но Альфонсо обошла нечаянно и обидела его нечаянно, просто по-другому не получалось. Последующее научило нас, что все нужно делать сознательно, обдуманно, чтобы знать наперед, чего ждать.

Дальнейшее напоминало лавину. Почти никто ничего не сделал нарочно, но на нас одно за другим обрушились непредвиденные события. Альфонсо вернулся домой в слезах, потому что проиграл. Его четырнадцатилетний брат Стефано,

подмастерье колбасника в лавке (бывшей мастерской столяра Пелузо) – она принадлежала его отцу, но тот в нее никогда не заглядывал, – на следующий день пришел к школе, подстерег Лилу и стал ей угрожать. Она в ответ обозвала его таким ужасным словом, что он прижал ее к стене, схватил за язык и заорал, что сейчас проткнет его булавкой. Лила вернулась домой и обо всем рассказала своему брату Рино: по ходу ее рассказа его лицо все сильнее наливалось краской, в глазах разгорался огонь. Как-то, когда Энцо шел домой один, без своей банды, на него налетел Стефано, надавал пощечин, повалил на землю и испинал ногами. Рино утром отправился на поиски Стефано, и они подрались, причем силы были примерно равны. Спустя несколько дней в дверь Черулло постучала жена дона Акилле, тетя Мария, и закатила Нунции скандал с криками и оскорблениями. Еще через несколько дней, в воскресенье, сапожник Фернандо Черулло, отец Лилы и Рино, маленький тощий мужчина, после мессы робко подошел к дону Акилле и попросил у него прощения, хотя понятия не имел за что. Я этого не видела или, по крайней мере, не помню, но рассказывали, будто слова извинения он произнес громко, чтобы все слышали, а дон Акилле прошел мимо него, будто сапожник обращается не к нему, а к кому-то другому. Вскоре после этого мы с Лилой попали Энцо камнем в лодыжку, а Энцо швырнул камень Лиле в голову. Я тогда завизжала от ужаса. Пока Лила с окровавленной головой и слипшимися волосами поднималась, Энцо спустился с насыпи, тоже роняя капли крови, увидел Лилу и совершенно неожиданно расплакался прямо у нас на глазах. Вскоре Рино, обожаемый брат Лилы, пришел к школе и отлупил Энцо, который почти не защищался. Рино был старше, крупнее, и у него был повод. Энцо ни словом не обмолвился об избиении ни своей банде, ни матери, ни отцу, ни братьям, ни двоюродным братьям, которые работали в поле или продавали с повозки фрукты и овощи. На этом благодаря ему вендетта закончилась.

10

Лила ходила с перевязанной головой недолго, но гордо. Потом она сняла повязку и показывала всем, кто просил, черную рану с красноватыми краями, которая спускалась на лоб из-под волос. Наконец она забыла о том, что произошло, и, когда кто-нибудь засматривался на белую отметину, оставшуюся на коже, хмурилась и топала ногой, что означало: «Что уставился? Иди куда шел!» Мне она не сказала ничего, ни слова благодарности за то, что я подавала ей камни и вытирала кровь краем фартука. Но с того дня начала предлагать мне соревнования на смелость, которые не имели ничего общего со школой.

Мы встречались во дворе все чаще. Мы показывали друг другу кукол, но в руки не давали, играли рядом, но как будто поодиночке. Однажды мы разрешили куклам встретиться, чтобы посмотреть, поладят ли они. Так наступил день, когда мы сели у подвального окна с отогнутой сеткой и поменялись куклами: Лида немного подержала в руках мою куклу, я – ее, а потом она ни с того ни с сего подвела Тину к отверстию в сетке и столкнула вниз.

Меня охватил ужас. Дороже этой пластмассовой куклы у меня ничего не было. Я знала, что Лида злая, но никогда не думала, что она может обойтись со мной так жестоко. Кукла была для меня живой, одна мысль о том, что она теперь внизу, в подвале, среди тысяч обитающих там зверей, повергала меня в отчаяние. Но я уже понемногу овладевала искусством, в котором позже достигну больших успехов. Я сдержала свою боль, спрятала ее за блеском глаз. Получилось так правдоподобно, что Лида спросила меня на диалекте:

– Тебе что, все равно?

Я не ответила. Мне было очень плохо, но я чувствовала, что, если мы с ней поссоримся, станет еще хуже. Меня как будто зажало между двух страданий – потерей куклы и возможной потерей Лиды. Я не сказала ни слова, зато – без всякой злости, как что-то естественное – сделала то, что на самом деле вовсе не было для меня естественным. Понимая, что сильно рискую, я взяла и бросила в подвал ее куклу Ну.

Лида смотрела на меня, не веря своим глазам.

– Как ты, так и я, – сказала я громким от ужаса голосом.

– А теперь иди и принеси ее!

– Если ты тоже пойдешь.

Мы пошли вместе. Мы знали, что у входа слева располагалась дверца, ведущая в подвал. Сорванная с петли с одной стороны, дверь закрывалась на засов, который еле удерживал две створки вместе. Любого ребенка соблазняла и вместе с тем жутко пугала мысль отодвинуть дверь и через щель попасть в подвал. Так мы и сделали. Образовался проход, достаточно широкий, чтобы мы, худые и гибкие, в него пролезли.

Мы спустились – Лиля первая, за ней я – по пяти каменным ступеням и оказались в сыром помещении, куда через маленькие окошки на уровне земли едва пробивался свет. От страха я старалась держаться позади Лилы, а та сердито шла напролом – искать свою куклу. Я двигалась на ощупь. Слышала, как под подошвами сандалий хрустят осколки стекла, щебень, мертвые насекомые. Нас окружали предметы, которые невозможно было распознать, – какие-то сгустки тьмы – остrokонечные, квадратные, круглые. Иногда в тусклом свете угадывалось что-то знакомое – каркас стула, ножка светильника, ящики из-под фруктов, доски, железные петли. Вдруг я увидела что-то похожее на лицо – дряблые щеки, большие стеклянные глаза, длинный угловатый подбородок – с застывшим на нем выражением отчаяния. Лицо висело на деревянной сушилке для белья. От страха я вскрикнула и указала на него Лиле. Она повернулась, тихо подошла к нему, осторожно протянула руку и сняла с сушилки. Потом она обернулась. Вместо ее лица было то самое, ужасное, – с круглыми, без зрачков, стеклянными глазами и без рта: только черный подбородок болтался на уровне груди.

Этот момент навсегда отпечатался у меня в памяти. Точно не могу сказать, но, должно быть, у меня вырвался настоящий вопль ужаса, потому что она поспешила объяснить, что это всего лишь маска – противогаз, как ее называл отец: оказалось, у них в кладовке лежит такой же. Я продолжала трястись и визжать от ужаса, и это, очевидно, заставило ее сдернуть маску и бросить ее в угол: раздался грохот, и на фоне узких полосок света, сочившегося из окон, мы увидели поднявшееся облако пыли.

Я успокоилась. Лила огляделась вокруг и нашла окно, в которое мы бросили Тину и Ну. Мы подошли к грубой неровной стене, вглядываясь в темноту. Кукол не было. Лила повторяла на диалекте: «Тут нет, тут нет, тут нет» – и шарила руками по полу; у меня на это не хватало смелости.

Проходили бесконечно долгие минуты. Только раз мне показалось, будто я заметила Тину, с замиранием сердца я наклонилась за ней, но это оказался всего лишь старый скомканный лист газеты. «Их тут нет», – повторила Лила и направилась к выходу. Я стояла в полной растерянности: остаться в подвале и продолжить поиски в одиночку я не могла, но не могла и уйти без куклы.

Лила поднялась по ступенькам и сказала: «Их нашел дон Акилле и унес в своей черной сумке».

В тот самый момент я почувяла присутствие дона Акилле: он ползал по полу среди предметов с неясными очертаниями. Я бросила Тину на произвол судьбы и побежала догонять Лилу, которая уже ловко пролезала за разбитую дверь.

11

Я верила всему, что она мне говорит. В памяти осталось бесформенное тело дона Акилле, бегущего по подземным ходам и размахивающего руками: длинные пальцы одной руки сжимают голову Ну, другой – голову Тины. Я заболела. У меня поднялась температура, потом спала, потом поднялась снова. Появились нарушения восприятия: иногда мне казалось, что все вокруг кружится в бешеном ритме, что твердые поверхности под моими пальцами размягчаются и вздуваются, образуя внутри себя гулкие пустоты. То же происходило с моим телом: на ощупь оно казалось опухшим, и это меня расстраивало. Мне представлялось, что мои щеки – как воздушные шары, руки набиты опилками, вместо мочек ушей – спелые грозди рябины, а ноги – как два батона. Когда я поправилась и снова стала ходить в школу, мне еще долго казалось, что изменилось само пространство. Его как будто зажало между двумя темными полюсами: с одной стороны на корни домов давил пузырь подвального воздуха из мрачного подземелья, куда упали куклы, с другой – на голову давила сфера, свисавшая с четвертого этажа дома, где жил укравший кукол дон Акилле. Два этих шара как будто были привинчены к двум концам железного прута, в моем воображении пересекавшего по диагонали квартиры, дороги, поле, тоннель, рельсы. Шары сдавливали их. Я чувствовала, как меня вместе с другими людьми и кучей вещей сжимают эти тиски; во рту постоянно стоял неприятный привкус, меня мучительно тошнило, словно мои внутренности перемалывались в омерзительное пюре.

Болезнь продлилась, наверное, целый год, до наступления переходного возраста. А в те времена, когда она только начиналась, я неожиданно услышала первое признание в любви.

Это случилось до того, как мы с Лилой решили подняться к двери квартиры дона Акилле, когда боль от потери Тины все еще была невыносимой. Мать послала меня за хлебом, мне пришлось пересилить себя и пойти. Когда я возвращалась домой, крепко, чтобы не потерять, зажав в кулаке сдачу и прижимая к груди еще теплую булку, то заметила, что следом за мной бредет, держа за руку младшего брата, Нино Сарраторе. Летом Лидия, его мать, отправляла его гулять

с Пино, которому в то время не было и пяти, с приказом не отпускать младшего брата ни на шаг. На углу улицы, неподалеку от колбасной лавки Карраччи, Нино обогнал меня, но не пошел дальше, а преградил мне дорогу, подтолкнул к стене, оперся на нее свободной рукой, как бы установив заграждение, чтобы я не сбежала, а другой продолжал держать за руку брата – молчаливого свидетеля его выходки. Тяжело дыша, он что-то произнес, но я не поняла что. Он был бледен, то улыбался, то вновь становился серьезным и наконец на чистом литературном объявил:

– Когда мы вырастем, я бы на тебе женился.

Потом он спросил, соглашусь ли я стать «его девушкой». Он был немного выше меня, очень худой, с длинной шеей и слегка оттопыренными ушами. У него были кудрявые волосы и пронзительные глаза с длинными ресницами. Он так старался побороть свою застенчивость, что это меня растрогало. Но несмотря на то, что я и сама мечтала, чтобы он на мне женился, у меня вырвалось:

– Нет, не могу.

Он застыл на месте и так и стоял, пока Пино не дернул его за руку. Я убежала.

С того дня я всегда, завидев его, убегала. И все-таки он казался мне очень красивым. Сколько раз я заговаривала с его сестрой Маризой только ради того, чтобы пойти из школы вместе с ними. Просто он выбрал для признания слишком неподходящий момент. Откуда ему было знать, что я чувствовала, лишившись Тины, чего мне стоило повсюду следовать за Лилой и как я задыхалась в тесноте двора, домов, квартала. Первое время он подолгу смотрел на меня издали испуганным взглядом, а потом тоже начал меня сторониться. Должно быть, боялся, что я расскажу другим девчонкам, особенно его сестре, о том, что он сделал мне предложение. Именно так поступила Джильола Спаньюоло, когда Энцо предложил ей встречаться. Энцо узнал, что она всем о нем растрепала, и сильно разозлился. Он подстерег ее возле школы, наорал, обозвал врушкой и даже грозил зарезать. Меня тоже так и подмывало всем рассказать про Нино, но я подумала и решила молчать, даже перед Лилой, когда мы с ней уже подружились. А потом я сама забыла об этом случае.

А вспомнила о нем позже, когда Сарраторе всей семьей переехали. Однажды утром во дворе появились повозка и лошадь, принадлежавшие Николе, мужу

Ассунты: с той же повозки, запряженной той же лошастью, они продавали в нашем квартале овощи и фрукты. У Николы было красивое лицо, голубые глаза и светлые волосы, такие же достались и его сыну Энцо. Никола не только торговал овощами и фруктами, но еще и помогал соседям с переездами. Вот и в тот день Никола, Донато Сарраторе, Нино и Лидия принялись сносить вниз мебель, матрасы и другие вещи и укладывать их в повозку.

Женщины, в том числе мы с матерью, как только услышали скрип колес во дворе, высунулись из окон. Переезд был большим событием. По слухам, Донато получил от Государственной железной дороги новую квартиру неподалеку от площади под названием пьядца Национале. Но моя мать утверждала, что на переезде настояла жена Донато, чтобы избавиться от преследований Мелины, которая пыталась отбить у нее мужа. Может, и так. Моя мать всегда предполагала худшее, а потом я с досадой узнавала, что все сбылось в точности, как она говорила, как будто своим косым глазом она насквозь видела все чужие тайны. Что же предпримет Мелина? У нас шептались, что она забеременела от Сарраторе, а потом избавилась от ребенка, но наверняка никто ничего не знал. Интересно, будет ли она выкрикивать из окна всякие гадости? Все мы, взрослые и дети, высунулись из окон, чтобы помахать на прощание переезжающим, а заодно поглазеть на представление, которое должна была устроить тощая злюка – вдова. Даже Лида с матерью глядели во двор.

Я пыталась поймать взгляд Нино, но ему явно было не до меня. Меня, как обычно без видимых причин, охватила полубморочная слабость. Нино открылся мне, поняла я, уже зная, что уедет. Я смотрела, как он, пыхтя, таскает плотно набитые коробки, и чувствовала себя виноватой из-за того, что сказала ему «нет». Он улетит, как птица, а я останусь.

Наконец носить мебель и домашнюю утварь закончили. Никола и Донато принялись веревками закреплять вещи в повозке. Лидия Сарраторе вышла в праздничном платье и летней соломенной шляпке голубого цвета. Она катила коляску с младшим сыном, а по бокам от нее шли девочки: моя ровесница Мариза и шестилетняя Клелия. Вдруг со второго этажа послышался страшный грохот, и практически в ту же минуту до нас донесся громкий вопль. Кричала Мелина. От этого душераздирающего крика Лида, как я заметила, закрыла уши руками. Сразу затем раздался отчаянный голос дочери Мелины Ады: «Мама, нет! Не надо, мама!» Через пару секунд я тоже заткнула уши. Но тут из окна полетели вещи, и мне стало так любопытно, что я отняла руки от ушей, как будто боялась, что, не слыша звуков, ничего не разгляжу и не пойму. Мелина не

бранилась, а только стонала: «А-а-ах, а-а-ах», словно раненая. Ее мы не видели, не видели в окне даже ее рук, швырявших вниз вещи. Медные кастрюли, стаканы, бутылки, тарелки вылетали из окна как бы сами собой, целя в Лидию Сарраторе, которая, пригнувшись и прикрывая собой коляску, быстрым шагом удалялась прочь, а следом за ней бежали дочери. Донато лез на повозку, протискиваясь между коробками, а дон Никола удерживал лошадь, возле самых ног которой вдребезги разбивались об асфальт выброшенные вещи.

Я отыскивала взглядом Лилу: она изменилась в лице, которое теперь выражало растерянность. Должно быть, она заметила, что я смотрю на нее, и отступила от окна. Тем временем повозка тронулась с места. Лидия Сарраторе с четырьмя младшими детьми пробиралась вдоль стены к воротам. Она так ни с кем и не попрощалась. Нино, казалось, вообще не собирается уходить, замороженный видом падающих на асфальт хрупких вещей.

Последним из окна вылетело что-то черное, похожее на сгусток тьмы. Это был утюг, большой железный утюг с железной же ручкой. Когда у меня еще была Тина и я играла дома, то брала такой же у матери: у него был узкий нос, и я представляла себе, что это лодка, и она попала в шторм. Утюг упал с глухим стуком, проделав ямку в земле в нескольких сантиметрах от Нино. Еще бы чуть-чуть, и он бы его убил. Совсем чуть-чуть.

12

Ни один мальчик не признавался Лиле в любви, но она ни разу не жаловалась мне, что переживает из-за этого. Джильола Спаньюоло то и дело получала приглашения на свидание, меня тоже не обходили вниманием. А Лила, наоборот, мальчишкам не нравилась: худая как щепка, грязная, вечно в ссадинах, она к тому же была остра на язык, придумывала обидные прозвища и в разговорах с учительницей гордо произносила слова из литературного итальянского, которых никто из нас не знал, а с нами говорила только на диалекте, сыпала ругательствами и на корню пресекала любые попытки продемонстрировать романтические чувства. Только Энцо однажды – нет, не предложил ей руку и сердце, но хотя бы выказал восхищение и уважение. Как-то раз, спустя порядочное время после того, как он разбил ей голову камнем, но, по-моему, до того, как получил отказ от Джильолы Спаньюоло, он догнал нас на улице и под моим изумленным взглядом протянул Лиле венок из рябины.

– Зачем он мне?

– Съешь ягоды.

– Неспелые?

– Подожди, пока созреют.

– Не хочу я их есть.

– Тогда выкинь.

Вот и все. Энцо повернулся спиной и побежал работать. Мы с Лилой рассмеялись. Мы мало разговаривали, но в любую минуту готовы были расхохотаться.

– А я люблю рябину, – весело сказала я.

Я соврала. На самом деле я ее не любила. Мне нравился разве что красновато-оранжевый цвет блестящих на солнце ягод. Потом, созревая на балконе, они сморщивались, напоминая крошечные коричневые сушеные груши; с них легко сходила кожица, обнажая зернистую мякоть: на вкус она была ничего, но лопнувшие ягоды наводили на мысль о раздавленных мышинных трупиках на обочине дороги, поэтому я к ним даже не прикасалась. Я сказала, что люблю рябину, надеясь, что Лиля отдаст мне венок и скажет: «Бери себе, если хочешь». Я чувствовала, что, если она отдаст мне дар Энцо, это обрадует меня больше, чем если бы она подарила мне что-то свое. Но она этого не сделала, и я до сих пор помню ощущение предательства, которое испытала, когда Лиля понесла рябину домой. Она сама вбила гвоздь над окном. Я видела, как она вешала на него венок.

13

Энцо больше никогда ничего ей не дарил. После ссоры с Джильолой, когда она рассказала всем о его признании, мы видели его все реже. После того как он блеснул в устном счете, Энцо ужасно разгневался, и учитель даже не допустил его к вступительным экзаменам в среднюю школу. Энцо не расстроился, а,

наоборот, обрадовался. Он записался в профессиональное училище, чтобы скорее пойти работать, хотя на самом деле он и так уже работал с родителями. Просыпался на заре и шел с отцом на овощной рынок или ездил по кварталу, торгуя деревенскими продуктами. Поэтому с учебой ему пришлось расстаться.

Нам в конце пятого класса сказали, что мы обязательно должны учиться дальше. Учительница по очереди вызвала сначала моих родителей, потом родителей Джильолы, потом Лилы, и объяснила им, что вместе с экзаменами за начальную школу нам надо сдать и вступительные в среднюю. Я готова была выучить все что угодно, лишь бы отец не отправил в школу мать, хромую, с косящим глазом, вечно раздраженную, а пошел сам – он-то встречал в муниципалитете посетителей и умел разговаривать вежливо. Но мой план провалился. Разговаривать с учительницей отправилась мать и вернулась домой мрачнее тучи.

– Учительница хочет денег. Говорит, нужны дополнительные занятия, потому что экзамен сложный.

– А зачем он нужен, этот экзамен? – спросил отец.

– Чтобы она могла изучать латынь.

– Зачем?

– Затем, что у нее хорошо с учебой.

– А если у нее хорошо с учебой, зачем учительнице заниматься с ней дополнительно, за деньги?

– Чтобы учительнице было лучше, а нам – хуже.

Они долго спорили. Сначала мать была против, а отец сомневался, потом отец стал понемногу соглашаться, мать смирилась, стала меньше возражать, и, наконец, они разрешили мне сдавать экзамены, но все с тем же условием: если я не буду учиться на отлично, они заберут меня из школы.

А Лиле родители сказали «нет». Нунция Черулло предприняла слабую попытку уговорить мужа, но он ничего не желал слушать и даже вlepил Рино, когда тот сказал, что отец не прав, пощечину. Родители Лилы вообще больше не собирались ходить к учительнице, но та попросила директора их вызвать, и Нунции поневоле пришлось опять тащиться в школу. Синьора Оливьеро в ответ на тихий, но решительный шепот испуганной женщины, объяснявшей, почему ее дочь не может продолжать учебу, нахмурилась и просто показала ей тетради Лилы – великолепные сочинения, правильные решения самых трудных задач и даже рисунки, которыми восторгался весь класс: насмотревшись на репродукции Джотто, она могла, если постарается, так здорово изобразить всяких принцесс – с немыслимыми прическами, в драгоценностях, потрясающих платьях и туфлях, каких никто из нас не видел ни в книгах, ни в кино, – что они выглядели как живые. Но мать Лилы ничто не могло сбить с толку. Тогда синьора Оливьеро, потеряв терпение, потащила ее, словно непослушную ученицу, к директору. Нунция не поддавалась: муж не разрешает, и все тут. И твердила свое «нет» до потери сознания – своего, учительницы и директора.

На следующий день по пути в школу Ли́ла как ни в чем не бывало сказала мне: «А я все равно сдам экзамен. Сама». Я ей поверила. Мы все знали, что запрещать ей что-либо бесполезно. Казалось, она сильнее всех нас, девочек, сильнее Энцо, Альфонсо, Стефано, сильнее своего брата Рино, сильнее своих и моих родителей, сильнее всех взрослых, включая учительницу и даже карабинеров, которые могут кого угодно отправить в тюрьму. С виду хрупкая, она сметала с дороги любые преграды, умела переступить границы и никогда не переживала из-за последствий. В конце концов противники отступали и им, пускай и против воли, приходилось с ней считаться.

14

Ходить к дону Акилле было строго-настрого запрещено, но она все равно решила сделать это, а я последовала за ней. Кроме того, в тот день я убедилась, что ее ничто не остановит – она была способна на такие поступки, что только держись.

Мы хотели, чтобы дон Акилле вернул нам наших кукол, поэтому мы и пошли вверх по лестнице. На каждой ступеньке я была готова развернуться и удрать вниз, во двор. Я до сих пор помню, как Ли́ла взяла меня за руку. Мне нравится думать, что она сделала это не только потому, что почувствовала: мне не хватит смелости добраться до последнего этажа, но и потому, что сама нуждалась в

поддержке. Так, крепко сцепив вспотевшие ладони, мы преодолевали последние пролеты: я – прижимаясь к стене, она – цепляясь за перила. Напротив двери донна Акилле сердце у меня забилося так сильно, что его удары стали раздаваться в ушах, однако я утешалась мыслью, что это стучит не только мое сердце, но и сердце Лилы. Из квартиры доносились голоса, может Альфонсо, или Стефано, или Пинуччи. Мы молча постояли под дверью, потом Лила позвонила. Сначала воцарилась тишина, потом послышалось шарканье ног. Дверь нам открыла донна Мария в линялом зеленом халате. Когда она заговорила, во рту сверкнул золотой зуб. Она думала, что мы пришли к Альфонсо, и немного удивилась.

– Нет, нам нужен дон Акилле, – сказала ей Лила на диалекте.

– Зачем? Скажите мне.

– Нам нужно с ним поговорить.

– Аки?, – крикнула женщина.

Снова зашаркали ноги. Перед нами появилась коренастая фигура – длинное туловище на коротких ногах и свисающие до колен руки. В зубах у донна Акилле была зажата зажженная сигарета.

– Кто там? – спросил он хрипло.

– Дочь сапожника и старшая дочка Греко.

Дон Акилле вышел на свет, и мы в первый раз хорошо его рассмотрели. Никаких камней, никаких стекол. Лицо было из плоти, вытянутое, растрепанные волосы росли только над ушами, а на макушке блестела лысина. Горящие глаза, белки с красными прожилками, рот широкий и тонкий, тяжелый подбородок с ямкой посередине. Мне он показался некрасивым, но не таким страшным, как я представляла.

– Чего вам?

– Кукол, – сказала Лила.

– Каких кукол?

– Наших.

– Тут нет никаких ваших кукол.

– Вы взяли их внизу, в подвале.

Дон Акилле обернулся и крикнул:

– Пину?, ты взяла куклу дочери сапожника?

– Я – нет.

– Альфо?, ты взял?

Раздался смех.

Не знаю, откуда у Лилы взялось столько смелости, но она спокойно сказала:

– Это вы их взяли. Мы сами видели.

На мгновение наступила тишина.

– Я взял ваших кукол? – удивился дон Акилле.

– Да. Вы их унесли в своей черной сумке.

Мужчина непонимающе хмурился.

Мне не верилось, что мы стоим лицом к лицу с доном Акилле, что Лида так с ним разговаривает, а он слушает, не скрывая недоумения, что в глубине квартиры видны Альфонсо, Стефано, Пинучча и донна Мария, накрывающая стол к ужину. Мне не верилось, что он – обыкновенный дядька, приземистый, плешивый, с немного странной фигурой, но обыкновенный. Я ждала, что он вот-вот начнет во что-нибудь превращаться.

Дон Акилле переспросил, словно пытаюсь вникнуть в значение услышанных слов:

– Я взял ваших кукол и унес их в черной сумке?

Он не злился – я чувствовала это, – скорее испытывал дискомфорт, как будто только что получил подтверждение того, о чем уже догадывался. Он произнес какую-то фразу на диалекте, которую я не поняла.

– Аки?, все готово! – позвала Мария.

– Иду.

Дон Акилле сунул широкую длинную руку в задний карман брюк. Мы крепче прижались друг к другу – вдруг он полез за ножом? Но он достал кошелек, открыл его, заглянул внутрь и протянул Лиле несколько бумажек – сколько там было, я не помню.

– Купите себе кукол, – сказал он.

Лила схватила деньги и потащила меня вниз по лестнице. Он перегнулся через перила и чуть слышно буркнул:

– Запомните: я вам их дарю.

Стараясь не споткнуться на лестнице, я на правильном итальянском ответила:

– Хорошего вечера и приятного аппетита.

15

Сразу после Пасхи мы с Джильолой Спаньюоло начали готовиться к вступительному экзамену. Учительница жила прямо у церкви Святого Семейства, окна ее квартиры глядели на сквер, за которым виднелись поле и железнодорожные столбы. Джильола приходила в наш двор и криком вызывала меня. Я уже ждала ее и бегом спускалась вниз. Мне нравилось посещать эти

частные уроки – кажется, два раза в неделю. В конце занятия учительница угощала нас печеньем в форме сердечек и газировкой.

Ли́ла с нами не ходила: ее родители не согласились платить учительнице. В то время мы уже очень близко дружили, и в разговорах со мной она продолжала утверждать, что сдаст экзамен и пойдет в тот же класс средней школы, что и я.

– А учебники?

– Возьму у тебя.

На деньги дона Акилле она купила роман «Маленькие женщины».[3 - «Маленькие женщины» – роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832–1888).] Ли́ла уже читала эту книгу, и она ей очень понравилась. В четвертом классе синьора Оливьеро дала нам, лучшим ученицам в классе, почитать книги из своей библиотеки. Ли́ле достались «Маленькие женщины», причем учительница добавила: «Это взрослая книга, но тебе в самый раз», а мне – «Сердце»[4 - «Сердце» – роман для подростков итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса (1846–1908).] и никаких объяснений. Ли́ла очень быстро прочитала и «Маленьких женщин», и «Сердце» и сказала, что это небо и земля: «Маленькие женщины», по ее мнению, был великолепный роман. У меня дело пошло не так гладко: к сроку, назначенному учительницей, я с трудом осилила одно «Сердце». Я читала медленно, я и до сих пор так читаю. Ли́ле пришлось вернуть книгу синьоре Оливьеро, и она жалела, что не сможет перечитать «Маленьких женщин» и обсудить книгу со мной. Однажды утром она решилась. Позвала меня, и мы вдвоем отправились к прудам, на то место, где закопали железную банку с деньгами дона Акилле, достали деньги и пошли в лавку канцелярских принадлежностей к Иоланде, узнать, хватит ли нам на пожелтевший на солнце экземпляр «Маленьких женщин», валявшийся в витрине бог знает с каких пор. Денег хватило. Завладев книгой, мы стали читать ее, сидя рядом во дворе, – иногда каждая про себя, иногда вслух. Мы читали и перечитывали ее месяцами, столько раз, что она вся запачкалась, истрепалась, у нее оторвался корешок, стали вылезать нитки и вываливаться страницы. Но это была наша книга, и мы ее очень любили. Хранительницей книги была я – держала ее дома среди школьных учебников, потому что в последнее время отец Ли́лы приходил в бешенство, если заставал ее за чтением.

Рино ее защищал. С того дня, как встал вопрос о вступительном экзамене, у них с отцом постоянно вспыхивали ссоры. Рино в то время было почти семнадцать, и

он отличался горячим нравом. Он все чаще стал требовать, чтобы ему платили за работу. Он рассуждал так: «Я встаю в шесть, иду в мастерскую, работаю до восьми вечера – значит, имею право на зарплату!» Его слова возмущали и отца, и мать. Рино обеспечен кровом и едой – зачем ему деньги? Его долг – помогать семье, а не разорять ее. Но парень считал несправедливым, что он работает столько же, сколько отец, и не получает ни гроша. Фернандо Черулло отвечал ему с напускным спокойствием: «Я уже щедро плачу тебе, Рино, тем, что обучаю тебя ремеслу: скоро ты будешь уметь не только поменять каблук или приладить подошву. Отец научит тебя всему, что знает сам, ты освоишь это искусство и сможешь сам сшить ботинки – от и до». Но Рино считал недостаточной оплату в виде обучения и постоянно затевал с отцом перепалку, особенно за ужином. Разговор начинался с денег, а заканчивался ссорой из-за Лилы.

– Если ты будешь мне платить, я позабочусь, чтобы она училась, – говорил Рино.

– Учиться? Зачем? Вот я учился?

– Нет.

– А ты учился?

– Нет.

– Ну и зачем твоей сестре учиться? Зачем женщине учеба?

Разговор почти всегда заканчивался тем, что Рино получал затрещину, ведь он, сам того не желая, выказывал неуважение к отцу. Парень не плакал, а если и извинялся, то злобным тоном.

Во время этих перебранок Лиля молчала. Она никогда не говорила об этом, но у меня сложилось впечатление, что, если я свою мать ненавидела – ненавидела по-настоящему, всей душой, – Лиля, несмотря ни на что, не испытывала к отцу неприязни. У него масса достоинств, говорила она; он, например, доверяет ей вести расчеты и хвастает перед друзьями, что его дочь – самая умная в нашем квартале. А в день именин он принес ей в постель горячий шоколад и четыре печенья. Но с учебой ничего нельзя поделаться: у него в голове не укладывается, что дочка будет продолжать учиться. А еще это не укладывалось в семейный бюджет: они едва сводили концы с концами, и вся большая семья, в том числе

две незамужних сестры Фернандо и родители Нунции, кормилась за счет маленькой сапожной мастерской. Поэтому говорить с отцом об учебе, вздыхала Ли́ла, все равно что со стеной, да и мать с ним согласна. Только брат думает по-другому и не боится спорить с отцом. Ли́ла, по непонятным мне причинам, была уверена, что Рино победит, добьется, чтобы ему платили за работу, и на свои деньги отправит ее в школу.

– Он и за учебу заплатит, – объясняла она мне.

Она не сомневалась, что Рино даст ей денег на школьные учебники, ручки, пенал, карандаши, глобус, фартук и бант. Она обожала брата. И говорила мне, что хочет выучиться и заработать кучу денег, чтобы сделать брата самым богатым человеком в нашем квартале.

В тот последний год начальной школы богатство стало у нас навязчивой идеей. Мы обсуждали богатство, как в приключенческих романах обсуждают поиск сокровищ. «Когда разбогатеем, сделаем это, сделаем то...» – мечтали мы. Послушать нас, так богатства спрятаны где-то неподалеку, в сундуках, и ждут не дождутся, когда мы их найдем; поднимаешь крышку сундука – а в нем полно золота... Потом, не знаю почему, все как-то поменялось, и мы стали связывать будущее богатство с учебой. Вот выучимся, думали мы, станем писать книги и точно разбогатеем. Богатство все еще вызывало в воображении сверкающие россыпи золотых монет в бесчисленных ларцах, но теперь, чтобы добраться до них, достаточно было написать книгу.

– Мы напишем ее вместе, – сказала Ли́ла однажды, и эта идея наполнила меня радостью.

Возможно, она родилась, когда Ли́ла узнала, что автор «Маленьких женщин» заработала столько денег, что даже поделилась ими с родственниками. Но точно сказать не могу. Мы много говорили о будущей книге, и я предложила начать ее сразу, как только сдам вступительные экзамены. Ли́ла согласилась, но потом не вытерпела. Я много занималась, готовилась к урокам со Спаньюоло и учительницей, а у Ли́лы было много свободного времени, поэтому она начала одна и написала роман без меня.

Когда она принесла мне его прочитать, я расстроилась, но скрыла разочарование и сделала вид, будто очень рада. Это был десяток листов в

клеточку, скрепленных швейной булавкой, в обложке, разрисованной пастелью. Я помню название – «Голубая фея», а еще – что роман был очень увлекательный и в нем было много длинных слов. Я сказала, что надо бы показать его учительнице. Лила не хотела. Я упрашивала ее, обещала, что сама его передам. Она поколебалась, но кивнула в знак согласия.

Однажды, когда мы занимались с синьорой Оливьеро у нее дома, я дождалась, пока Джильола выйдет в туалет, и достала «Голубую фею». Я сказала, что этот прекрасный роман написала Лила и что Лила хочет, чтобы она его прочитала. Но учительница, которая последние пять лет только и делала, что восхищалась всем, что делала Лила, не считая ее злобных выходок, холодно ответила: «Передай Черулло, чтобы лучше готовилась к выпускным экзаменам, а не тратила время попусту». Она отложила роман в сторону и оставила на столе, даже не перелистав его.

Ее реакция меня озадачила. Что могло случиться? Она злилась на мать Лилы? Ее злость распространилась на Лилу? Ей было жалко денег, которых она так и не получила от родителей моей подруги? Я терялась в догадках. Через несколько дней я осторожно спросила, прочитала ли она «Голубую фею». Она против своего обыкновения ответила обтекаемо, как будто только мы с ней были в состоянии понять, о чем речь.

– Ты знаешь, что такое «плебс», Греко?

– Плебс? Ну да, плебейский трибунал, Гракхи...

– Плебс – это что-то очень плохое.

– Да.

– А если кто-то хочет остаться плебеем сам и сделать плебеями своих детей и детей своих детей, то он не заслуживает внимания. Забудь про Черулло и думай о себе.

Учительница Оливьеро так ничего и не сказала о «Голубой фее». Лила первое время спрашивала, нет ли новостей, а потом перестала.

– Будет время, напишу другой роман. Тот не получился, – заявила она мрачно.

– Отличный роман!

– Отвратительный.

Она стала не такой бойкой, как раньше, особенно в классе: наверное, заметила, что учительница Оливьеро больше ее не хвалит. Иногда у меня складывалось впечатление, что учительницу раздражают ее успехи в учебе. На итоговом конкурсе в конце года Лиля победила, но вела себя уже не так вызывающе, как прежде. Под самый конец дня директор предложил тем, кто еще не выбыл из соревнования, то есть Лиле, Джильоле и мне, трудную задачу, которую составил сам. Мы с Джильолой бились над решением, но безрезультатно. Лиля, как обычно, сидела прищурившись и думала. Она сдалась последней. И робко, чего раньше с ней никогда не случалось, сказала, что задача не решается, потому что в условии допущена ошибка, но какая именно, она не понимает. Что тут началось! Оливьеро закатила настоящий скандал. Я смотрела на Лилу, которая стояла у доски с мелом в руках, хрупкая, зеленовато-бледная, под шквалом язвительных слов. Я видела, что у нее дрожат губы, и сама едва не разрыдалась.

– Если у тебя не получается задача, – бушевала учительница, – не говори, что она неправильная, а честно признай, что тебе не хватает ума с ней справиться!

Директор молчал. Насколько я помню, тем день и закончился.

16

Незадолго до выпускного экзамена Лиля подбила меня на очередное приключение – из тех, на которые в одиночку я в жизни не решилась бы. Мы договорились прогулять школу и дойти до границ квартала.

Я никогда там не была. Ни разу не удалялась от белых четырехэтажных домов, двора, приходской церкви и сквера, и меня никогда на это не тянуло. За полем проносились поезда, по шоссе катили в обе стороны легковые машины и грузовики, но я не помню, чтобы хоть раз спросила себя, учительницу или отца, куда все они едут – в какие города, в какие миры.

Ли́ла раньше тоже вроде бы этим не интересовалась, но тут взяла и все организовала. Велела мне сказать матери, что после уроков мы пойдем домой к учительнице Оливьеро праздновать окончание учебного года, а когда я напомнила ей, что учителя никогда не приглашают нас к себе, она ответила, что именно поэтому я и должна так сказать. Мероприятие должно казаться настолько исключительным, чтобы ни у кого из родителей не хватило наглости идти в школу узнавать, правда это или нет. Я положи́лась на нее, как обычно, и все сделала так, как она сказала. У меня дома поверили все: не только отец и братья, но и мать.

Накануне ночью я не могла уснуть. Что там, за границами квартала, за периметром, изученным вдоль и поперек? Позади нас возвышался густо поросший деревьями холм, вдоль сверкающих железнодорожных путей стояли редкие постройки. Впереди, по ту сторону шоссе, тянулась до прудов улица, вся в ямах. Справа, за оградой, простиралось под огромным небом поле без единого деревца. Слева виднелся туннель, зияющий тремя темными пастями, но, если в ясный день подняться на железнодорожную насыпь, за низкими домиками и стенами из туфа можно было рассмотреть густую растительность и голубую гору с двумя вершинами – одна повыше, другая пониже. Это был Везувий, вулкан.

Но ничто из того, что мы могли наблюдать каждый день, даже вскарабкавшись на холм, нас не впечатляло. Конечно, мы привыкли уверенным тоном пересказывать школьные учебники, рассуждая о том, чего никогда не видели, но это не значит, что нас не манило неведомое. Ли́ла утверждала, что в той стороне, где Везувий, есть еще и море. Рино был там и рассказывал ей, что вода в море голубая и сверкает – потрясающее зрелище. По воскресеньям – обычно летом, но часто и зимой – он бегал с друзьями купаться и обещал когда-нибудь взять ее с собой. На самом деле из наших знакомых не один Рино видел море. Нино Сарраторе и его сестра Мариза говорили о нем таким тоном, словно для них отправиться на побережье полакомиться дарами моря с солеными баранками таралло было обычным делом. Даже Джильола Спаньюоло там была. Счастливики – их родители устраивали им дальние прогулки, не ограничиваясь соседним сквером у церкви. Наши были другими: им не хватало времени, не хватало денег, не хватало желания. Правда, мне казалось, что я смутно помню морскую голубизну; мать утверждала, что маленькой брала меня с собой, когда ей прописали греть больную ногу горячим песком. Но я не слишком верила матери и считала, что, как и Ли́ла, ничего не знаю о море. Она хотела добраться до моря самостоятельно, как Рино, и убедила меня пойти с ней. Завтра.

Я встала рано и сделала вид, что собираюсь в школу: позавтракала хлебом с теплым молоком, собрала портфель, надела фартук. Как обычно, дождалась Лилу у ворот, и мы вместо того чтобы свернуть направо, перешли через дорогу и двинулись налево, к туннелю.

Стояло раннее утро, но уже было жарко. Пахло землей и влажной от росы травой, обсыхающей на солнце. Мы пробирались между высокими кустарниками по узким тропинкам, которые вели к железнодорожным путям. Дойдя до столба линии электропередачи, сняли фартуки, убрали их в портфели, а портфели спрятали в кустах. Мы пересекли хорошо знакомый нам лесок и, охваченные волнением, помчались по склону к туннелю. Правая часть чернела огромной дырой: мы никогда еще не ступали в такую тьму. Мы взялись за руки и пошли. Туннель был длинный, а круг света на другом его конце казался невероятно далеким. От звука шагов разносилось оглушительное эхо; глаза, привыкшие к полумраку, уже различали на земле поблескивающие вдоль стен огромные лужи. Мы боязливо продвигались вперед. Вдруг Лиля вскрикнула и тут же зловеще захохотала. Я тоже вскрикнула и захохотала. Весь оставшийся путь мы проделали, ни на минуту не замолкая: хохотали и кричали, кричали и хохотали – нам нравилось, как гулко разносятся звуки. Напряжение спало, началось путешествие.

Нас ждало несколько часов полной свободы; мы знали, что никто из домашних не станет нас искать! Когда я думаю о счастье свободы, в первую очередь вспоминаю тот день, тот миг, когда мы вышли из туннеля на свет и очутились на шоссе, убегающем вдаль сколько хватало глаз, – на дороге, которая, по рассказам Рино, вела прямо к морю. Я с радостью шагала навстречу неизведанному. Ничего общего с тем, как мы спускались в подвал или поднимались по лестнице к квартире донна Акилле. Из-за облаков проглядывало солнце, ветер приносил сильный запах гари. Мы долго шли мимо поросших сорняками развалин, мимо низких домов, из которых доносились голоса людей, говоривших на диалекте, а иногда и звуки трубы. Увидели лошадь – она осторожно спускалась с земляного вала, а переходя дорогу, заржала. Увидели молодую женщину, которая стояла на балконе и расчесывалась специальным частым гребешком от вшей. Прошли мимо сопливых детей, которые прекратили играть и враждебно уставились на нас. Встретили даже толстяка в майке: выбравшись из разрушенного дома, он стянул штаны и показал нам член. Но мы ничего не испугались: дон Никола, отец Энцо, иногда разрешал нам чистить их лошадь, к враждебным взглядам мы привыкли и у себя во дворе, а старый дон Мими специально поджидал нас по дороге из школы и показывал свои причиндалы. За все три часа, что мы шли вдоль шоссе, нам не встретилось

ничего такого, что сильно отличалось бы от того, к чему мы привыкли дома. Я не задумывалась, правильно ли мы идем. Мы шли держась за руки, но мне, как обычно, казалось, что Лида опережает меня на десять шагов и точно знает, куда идти. Я привыкла чувствовать себя второй и не сомневалась, что ей, всегда первой, все ясно: с какой скоростью шагать, чтобы хватило времени на обратную дорогу, и в какую сторону двигаться, чтобы попасть на море. У нее в голове, считала я, всегда царит такой порядок, что окружающий мир не в состоянии его разрушить. Я с радостью доверилась ей. Мне запомнился мягкий свет, который исходил не от солнца, а словно бы шел из глубины земли, на поверхности бедной и грязной.

Потом мы начали уставать, нам хотелось пить и есть. Об этом мы не подумали. Лида сбавила темп, я тоже. Два или три раза я перехватывала ее виноватый взгляд: она косилась на меня, будто понимая, что сделала мне что-то нехорошее. Еще я заметила, что она стала часто оглядываться назад, и тоже принялась оглядываться. Ее рука вспотела. Уже давно за спиной не было видно туннеля – границы знакомых нам мест. Пройденный путь представлялся теперь таким же неведомым, как и тот, что лежал впереди. У меня было чувство, что всем вокруг на нас наплевать. Между тем окрестности выглядели все более заброшенными: расплющенные бидоны, обгорелые доски, остовы автомобилей, колеса от телег со сломанными спицами, полуразвалившаяся мебель, ржавый металлолом. Почему Лида все оглядывается? Почему замолчала? Что не так?

Я остановилась. Небо, которое в начале путешествия казалось таким высоким, как будто опустилось. Позади все почернело, огромные тяжелые облака снизились, едва не задевая брюхом верхушки деревьев. Впереди все еще сиял слепящий свет, но по бокам на него уже наступали, сияясь задушить, лилово-серые тучи. Вдалеке гроыхнул гром. Мне стало страшно. Больше всего меня испугало выражение лица Лилы – раньше я никогда не видела ее такой. Она стояла с приоткрытым ртом и без конца озиралась широко распахнутыми глазами, не переставая крепко сжимать мою руку. «Неужели ей страшно? – удивлялась я про себя. – Что с ней такое?»

По дорожной пыли ударили первые капли дождя, оставшись на земле мелкими коричневыми пятнышками.

– Возвращаемся, – сказала Лида.

– А как же море?

- До него слишком далеко.

- А до дома не далеко?

- Тоже далеко.

- Пойдем лучше к морю.

- Нет.

- Почему?

Никогда еще я не видела, чтобы она так нервничала. Как будто она хотела, но все никак не решалась что-то мне сказать, объяснить, почему мы должны срочно возвращаться обратно. Я ее не понимала. Времени у нас еще было достаточно, до моря, скорее всего, оставалось не так уж далеко, а дождь... Ну так мы все равно вымокнем - что по пути домой, что продолжая шагать вперед. Рассуждать подобным образом я научилась у нее и поражалась, почему она сама не сообразит, что к чему.

Черное небо рассекли ослепительные фиолетовые лучи, и тут же оглушительно прогрохотал гром. Лила рванула меня за руку, и мы побежали в обратную сторону. Поднялся ветер. Капли застучали чаще и через несколько секунд превратились в настоящий водопад. Нам и в голову не пришло искать укрытие. Мы бежали, ничего не видя из-за дождя. Одежда у нас сразу промокла, голые ноги в разношенных сандалиях оставляли на уже размокшей земле неглубокие следы. Мы неслись во весь дух.

Потом мы выдохлись и побежали медленнее. Сверкали молнии, гремел гром, по обочинам дороги неслись потоки дождевой воды, мимо со страшным грохотом пролетали, поднимая волны грязи, грузовики. Теперь мы просто шли быстрым шагом. Сердце у меня колотилось как сумасшедшее. Вскоре ливень перешел в просто дождь, который тоже стих, хотя небо оставалось серым. Мы вымокли насквозь, волосы у нас прилипли к голове, а губы посинели. Вот и туннель. Карабкаясь вверх по склону, мы задевали набухшие водой ветки кустов, и то и дело вздрагивали. Мы нашли свои портфели, надели поверх мокрых платьев сухие фартуки и направились к дому. Лила больше не держала меня за руку, но

шла опустив глаза.

Скоро выяснилось, что весь наш тщательно продуманный план полетел кувырком. Гроза собралась как раз к окончанию уроков, и моя мать пошла к школе, прихватив зонт, чтобы проводить меня на праздник к учительнице. Там она узнала, что я прогуляла занятия, а никакого праздника нет и не предвидится. Она искала меня несколько часов. Я издали заметила ее прихрамывающую фигуру, бросила Лилу и побежала ей навстречу. Она даже не стала ни о чем меня спрашивать. Надавала мне по щекам, стукнула зонтом и заорала, что в следующий раз меня убьет.

Лила улизнала – у нее дома так никто ни о чем и не догадался.

Вечером мать обо всем доложила отцу и попросила меня выпороть. Он не хотел меня бить, и они поссорились. Сначала он отвесил затрещину ей, потом, в бешенстве на себя, всыпал и мне как следует. Всю ночь я пыталась понять, что же произошло. Мы собирались пойти к морю, но не пошли, а меня ни за что отлупили. Как будто каким-то таинственным образом мы с Лилой поменялись местами: я, несмотря на дождь, хотела продолжать путь, как будто расстояние, отделявшее меня от дома – я тогда впервые испытала это чувство, – освободило меня от любых уз и заглушило любые тревоги. А Лила внезапно передумала идти к морю и решила вернуться домой. У меня это не укладывалось в голове.

На следующий день я не стала дожидаться ее у ворот и пошла в школу одна. Мы увиделись в сквере, она заметила синяки у меня на руках и спросила, что случилось. Я пожала плечами.

– Отлупили?

– А что еще со мной должны были сделать?

– И больше ничего? Они что, все равно отпускают тебя учить латынь?

Я смотрела на нее в растерянности.

Неужели она... Неужели она потащила меня с собой только ради того, чтобы родители в наказание не пустили меня в среднюю школу? А зачем тогда сломя

голову потащила меня назад? Чтобы спасти от наказания? Или – я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос – ей сначала захотелось одного, а потом другого?

17

Пришло время выпускных экзаменов за начальную школу. Когда Лида осознала, что после них я буду сдавать еще вступительный в среднюю, она как будто потеряла к учебе всякий интерес. Из-за этого я, ко всеобщему изумлению, сдала все экзамены на десятки, а Лида – на девятки, а арифметику вообще на восьмерку.

Я не слышала от нее ни слова недовольства или досады. Зато она спелась с Кармелой Пелузо, дочерью столяра-игрока, как будто одной меня ей стало мало. За несколько дней мы превратились в трио, в котором я, признанная лучшей ученицей школы, почти всегда оказывалась третьей лишней. Они болтали и шутили между собой, точнее, Лида говорила и шутила, а Кармела слушала и смеялась. Когда мы гуляли вдоль шоссе, Лида всегда шагала в центре, а мы – по сторонам. Я не могла не замечать, что Кармеле она уделяет куда больше внимания, чем мне; я расстраивалась, и меня так и подмывало уйти домой.

В то время Лида была сама не своя, как будто пережила солнечный удар. Уже стояла жара, и мы часто смачивали голову под питьевым фонтанчиком. Я помню ее мокрые волосы, капли, стекающие по лицу, и постоянные рассказы о том, как в следующем году мы пойдем в школу. Эта тема стала у нее любимой; она только об этом и твердила, будто пересказывала сюжет будущего рассказа, который поможет ей разбогатеть. Правда, теперь она в основном обращалась к Кармеле Пелузо, которая окончила начальную школу на семерки и тоже не сдавала вступительный экзамен.

Лида умела рассказывать. Слушая ее, я верила, что все это и правда будет – и школа, в которую мы пойдем, и новые учителя. Она заставляла меня то смеяться, то по-настоящему волноваться. Но однажды я ее перебила.

– Лида, – сказала я, – ты не можешь поступать в среднюю школу: ты же не сдавала вступительный экзамен. Вас туда не примут: ни тебя, ни Пелузо.

Она разозлилась. И сказала, что она все равно туда поступит, с экзаменом или без экзамена.

- И Кармела?

- И Кармела.

- Это невозможно.

- Вот увидишь!

Но мои слова, видимо, сильно ее задели. После того разговора она перестала рассказывать о нашем школьном будущем и снова стала молчаливой. Потом внезапно принялась изводить домашних, без конца твердя, что тоже хочет учить латынь, как мы с Джильолой Спаньюоло. Особенно она обижалась на Рино, который обещал помочь, но не помог. Объяснять ей, что уже ничего не поделаешь, было бесполезно, она не желала прислушиваться к разумным доводам и только еще больше злилась.

К началу лета в моем отношении к Лиле стало преобладать чувство, которое мне трудно описать словами. Я видела, какой раздражительной и агрессивной она стала, и радовалась, что узнаю ее прежнюю. Но к моей радости примешивалась тревога: за ее привычными выходками теперь угадывалось страдание. Ей было плохо, и я за нее переживала. Мне больше нравилась Лила, не похожая на меня, далекая от моих забот. Но неловкость, которую я испытывала, видя ее слабость, каким-то непостижимым образом превращалась в жажду превосходства. Я не упускала случая, особенно когда рядом не было Кармелы Пелузо, осторожно напомнить Лиле, что мои оценки лучше, чем ее. При каждой возможности подчеркивала, что я пойду в среднюю школу, а она - нет. Перестать быть второй, опередить ее хоть раз в жизни - это казалось мне большим успехом. Должно быть, она догадывалась об этом и становилась все резче, но не со мной, а со своей родней.

Поджидая ее во дворе, я часто слышала доносившиеся из окна крики. Она ругалась такими грязными словами, что я невольно вздрагивала: как можно, думала я, так вести себя с родителями и старшим братом. Конечно, ее отец, сапожник Фернандо, быстро впадал в ярость. Но мы привыкли, что все отцы заводятся с полоборота. Отец Лилы в этом смысле был лучше других - если,

конечно, не выводить его из себя. Чертами он напоминал актера Рэндольфа Скотта, только проще и грубее: никаких светлых тонов, густая черная борода от самых глаз, широкие короткопалые руки с вьёвшейся грязью под ногтями. Он любил пошутить. Когда я заходила к ним, он зажимал мне нос указательным и средним пальцами и делал вид, что собирается его оторвать. А потом радостно заявлял, что украл мой нос, и изображал, будто он мечется у него между пальцами, пытаюсь удрать и вернуться ко мне на лицо. Это было здорово и смешно. Но стоило Лиле, или Рино, или другим детям его рассердить, даже мне становилось страшно, хоть я и стояла на улице.

Не знаю, что случилось в тот день после обеда. Обычно в теплую погоду мы гуляли до позднего вечера, но в тот раз Лиля не вышла, и я отправилась к ним под окна. «Ли, Ли, Ли!» – звала я, но почти не слышала себя из-за громовых криков Фернандо, громких воплей матери Лилы и настойчивого голоса моей подруги. Я поняла, что там происходит что-то ужасное. Из окон неслись грубый неаполитанский говор и грохот: кидали и били вещи. На вид все было так же, как у меня дома, когда мать злилась, что не хватает денег, а отец злился, что она уже потратила часть зарплаты, которую он ей дал. На самом деле разница была существенная. Мой отец сдерживался, даже когда злился, через силу стараясь говорить тихо, не позволяя себе повышать голос, даже когда на шее вздувались вены и глаза вспыхивали огнем. Фернандо, напротив, орал, ломал вещи, его ярость подпитывала сама себя, не давая ему остановиться, а когда жена пыталась успокоить его, злился еще сильнее и, даже если ссорился не с ней, в конце концов избивал ее. Поэтому я настойчиво продолжала звать Лилу, чтобы вытащить ее из этого ада ругани, шума и разрушения. Я кричала: «Ли, Ли, Ли», – но она меня не слышала и продолжала осыпать отца оскорблениями.

Нам было десять лет, скоро должно было исполниться одиннадцать. Я полнела, а Лилия оставалась маленькой и худющей, легкой и изящной. Вдруг крики прекратились, и мгновение спустя моя подруга вылетела из окна и упала на асфальт позади меня.

Я стояла разинув рот. Фернандо высунулся в окно, продолжая выкрикивать в адрес дочери жуткие угрозы. Он выбросил ее, как ненужную тряпку.

Я в ужасе смотрела, как она пытается приподняться. С почти веселой ухмылкой она произнесла: «А что я такого сделала-то?»

По лицу у нее текла кровь, а рука была сломана.

Отцы могли делать с непослушными дочерьми что заблагорассудится. После того случая Фернандо стал еще мрачнее и работал еще одержимее, чем раньше. Летом мы с Кармелой и Лилой часто ходили мимо его мастерской; Рино всегда махал нам рукой, а сапожник даже не смотрел на дочь с рукой в гипсе. Чувствовалось, что ему неприятно. Но отцовские колотушки казались пустяком по сравнению с тем, что творилось у нас в квартале. Карточный проигрыш в душном баре «Солара», не говоря уже о бесконечном пьянстве, частенько заканчивался дракой. Хозяин бара Сильвио Солара – толстый, пузатый, с голубыми глазами и высоким лбом – держал за стойкой черную дубинку, которой охаживал каждого, кто посмел не заплатить по счету или просрочить долг. Ему помогали сыновья, Марчелло и Микеле, ровесники брата Лилы – у этих рука была еще тяжелее, чем у папаши. Там вечно кого-то мутузили. А потом мужчины, подогретые алкоголем и проигрышем и злые на весь свет, возвращались домой. Одно неосторожное слово от домашних – и они пускали в ход кулаки: одна обида порождала другую.

В то долгое лето произошло событие, которое потрясло всех, но особое впечатление произвело на Лилу. Дон Акилле, ужасный дон Акилле, одним необычайно дождливым августовским днем был убит у себя дома.

Он был на кухне и как раз открыл окно, чтобы впустить в квартиру свежего, пахнущего дождем воздуха. Специально встал ради этого с кровати, прервав послеобеденный отдых. На нем была сильно поношенная голубая пижама, на ногах – желтоватые, потемневшие на пятках носки. Но только он распахнул оконную створку, ему в лицо дохнуло дождем, а в шею с правой стороны, ровно посередине между верхней челюстью и ключицей, ударил нож.

Кровь брызнула на медную кастрюлю, висевшую на стене. Медь была такой блестящей, что кровь на ней казалась чернильным пятном, из которого, как нам рассказывала Лиля, вытекала извилистая черная струйка. Убийца – Лиля склонялась к тому, что это была женщина, – проникла в квартиру в то время, когда дети обычно гуляют на улице, а взрослые, если они не на работе, отдыхают. Замок, разумеется, открыла отмычкой. И разумеется, хотела нанести удар спящему Акилле в сердце, но обнаружила, что он проснулся, и вонзила нож ему в горло. Дон Акилле обернулся: лезвие целиком вошло ему в тело, глаза вылезли из орбит, кровь текла на пижаму рекой. Он рухнул на колени, а затем

упал на пол лицом вниз.

Убийство так поразило Лилу, что она почти каждый день рассказывала нам о нем, добавляя все новые подробности, как будто сама при нем присутствовала. Нам с Кармелой Пелузо становилось очень страшно, а Кармела даже не могла спать по ночам. В самые жуткие моменты Ли́ла – рассказывая, как по медной кастрюле стекала струйка крови, – прищуривалась, и в ее глазах появлялось ожесточение. Конечно, она верила, что убийца – женщина, только потому, что так ей было проще представлять на ее месте себя.

В то время мы часто ходили домой к Пелузо играть в шашки или крестики-нолики, которыми тогда увлеклась Ли́ла. Мать Кармелы устраивала нас в столовой, заставленной мебелью, которую ее муж смастерил в те времена, когда дон Акилле еще не отобрал у него столярные инструменты и мастерскую. Мы садились за стол, втиснутый между двумя зеркальными буфетами, и играли. Кармела нравилась мне все меньше, но я делала вид, что мы с ней такие же подруги, как с Лилой; иногда я даже давала ей понять, что она нравится мне больше. Но вот кто мне и правда нравился, так это синьора Пелузо. Она работала на табачной фабрике, но за несколько месяцев до тех событий ее уволили, и теперь она постоянно была дома. Но и в хорошие, и в плохие времена она оставалась веселой. Полная, с большой грудью и румяными щеками, она всегда, несмотря на то что денег вечно не хватало, ухитрялась угостить нас чем-нибудь вкусненьким. Да и муж ее стал куда спокойней, чем раньше. Он устроился официантом в пиццерию и старался обходить бар «Солара» за милую, чтобы не проиграть то небольшое, что зарабатывал.

Однажды утром мы сидели в столовой и играли в шашки: мы с Кармелой против Лилы. Мы вдвоем занимали одну сторону стола, она – другую. За нашими спинами стояли одинаковые буфеты темного дерева, сверху украшенные карнизами с завитками. Я смотрела на нас троих в бесконечности отражений двух зеркал, но никак не могла сосредоточиться ни на наших лицах, которые казались мне уродливыми, ни на голосе Альфредо Пелузо – в тот день он был чем-то расстроен, и они с Джузеппиной громко ссорились.

В дверь постучали, и синьора Пелузо пошла открывать. Мы услышали, как она вскрикнула, втроем выглянули в коридор и увидели карабинеров, которых боялись все. Карабинеры схватили Альфредо и увели с собой. Он сопротивлялся, кричал, звал по именам детей – Паскуале, Кармелу, Чиро, Иммаколату, – цеплялся за мебель, сделанную своими руками, за Джузеппину, и клялся, что

невиновен и не убивал дона Акилле. Кармела заплакала, все заплакали, и я тоже. Лила – нет. Лила смотрела тем же взглядом, каким когда-то смотрела на Мелину. Разница была в том, что теперь она стояла на месте, но мне казалось, что она перемещается вместе с Альфредо Пелузо, который хриплым от ужаса голосом все выкрикивал: «Ах! А-а-ах!»

Это было самое страшное из всего, что я видела в детстве. Меня эта картина потрясла. Лила занималась Кармелой, утешала ее. Говорила, что если дона Акилле действительно убил ее отец, то он правильно сделал, но, по ее мнению, это не он: конечно же он невиновен и вскоре вырвется из тюрьмы. Они долго говорили между собой, а при моем приближении отошли в сторону, чтобы я ничего не услышала.

ОТРОЧЕСТВО

История ботинок

1

31 декабря 1958 года с Лилой впервые случилась «обрезка».[5 - Обрезка (в полиграфии) – выравнивание книжного блока на резальной машине.] Это слово придумала не я, да и Лила использовала его, вкладывая в него свой особый смысл. Она говорила, что в моменты «обрезки» очертания людей и предметов вокруг нее словно расплывались и становились неопределенными. Это ощущение вдруг накрыло ее в ту ночь на верхней террасе, где мы праздновали наступление 1959 года; она испугалась, но промолчала, поскольку пока не знала, как его описать. Только много лет спустя, ноябрьским вечером 1980-го – нам обеим уже исполнилось по тридцать шесть, мы обе были замужем, с детьми, – она впервые в разговоре со мной употребила это слово и рассказала в подробностях, что с ней тогда произошло и время от времени повторялось.

Терраса располагалась на крыше одного из домов квартала. На улице было очень холодно, но мы пришли в открытых легких платьях, чтобы выглядеть красиво. Мы смотрели на подвыпивших напористых парней, на их подвижные

черные силуэты и лица, оживленные праздником, едой и шампанским. Они привыкли встречать Новый год фейерверками, и теперь один за другим поджигали фитили – как я расскажу позднее, Лиля принимала самое активное участие в этом традиционном ритуале и в тот вечер с довольным видом любовалась рассыпавшимися по небу огненными штрихами. «Но вдруг, – делилась она со мной потом, – меня, несмотря на холод, окатило потом». Ей вдруг почудилось, что все кричат слишком громко и двигаются слишком быстро. Ее замутило, и у нее возникло странное ощущение, будто вокруг нее и всех остальных сгустилось что-то непонятное, хотя абсолютно материальное, что существовало всегда, но сейчас проявилось с особенной силой, словно сдирало с людей и вещей оболочку и открывало их внутреннюю сущность.

Сердце у нее заколотилось в бешеном ритме. Возгласы, которые издавали люди на террасе, двигавшиеся среди дыма и взрывов, приводили ее в ужас, как будто эти громкие звуки подчинялись каким-то новым, неведомым законам. Тошнота нарастала, диалект, на котором мы изъяснялись, звучал непривычно, словно слова намокали у нас в горле, пропитываясь слюной, и это было невыносимо. Шевелящиеся тела, их исступленно сотрясавшиеся костяные скелеты вызывали у нее отвращение. «Как отвратительно мы устроены, – думала она, – какие мы безобразные». Широкие плечи, руки, ноги, уши, носы, глаза, казалось, принадлежат чудовищным созданиям, явившимся сюда из заброшенного закоулка бескрайнего черного неба. Почему-то самое омерзительное впечатление произвело на нее тело ее брата Рино, самого близкого ей человека, которого она любила больше всех на свете.

Она словно впервые увидела его таким, какой он на самом деле: с приземистой коренастой фигурой сильного зверя, самого хищного, самого алчного, громче всех рычащего и самого ничтожного. Ею овладело смятение, она почувствовала, что задыхается. Слишком много дыма, слишком много едкой вони, слишком много огней, сверкающих в ледяном воздухе. Лиля старалась взять себя в руки, внушала себе: «Я должна понять, что со мной происходит, я должна сбросить это наваждение». В этот момент среди радостных криков она расслышала звук взрыва, наверное, это был последний взрыв, и ее коснулось легкое, как от взмаха крыльев, дуновение. Это был выстрел, а не салют; кто-то стрелял из пистолета. Рино, обращаясь к желтым огненным вспышкам, выкрикивал непристойные ругательства.

Лиля рассказала, что состояние, которое она называла обрезкой, уже было ей знакомо, хотя в ту ночь впервые проявилось так отчетливо. Например, ее и

раньше посещало чувство, будто она, нарушая привычные границы, на доли секунды вселяется в другого человека, или предмет, или число, или слог. В тот день, когда отец выбросил ее из окна, она, пока летела вниз, явственно видела, как мелкие красноватые живые существа растворяют твердый асфальт, превращая его в гладкую мягкую материю. Но в ту новогоднюю ночь она впервые ощутила присутствие неизвестной сущности, разрушающей контуры окружающего мира и показывающей его отвратительную природу. И это ее потрясло.

2

Когда сняли гипс и Лиля снова смогла двигать своей бледной рукой, ее отец Фернандо заключил с самим собой соглашение. Напрямую дочери он ничего не сказал, но через Рино и жену Нунцию разрешил ей ходить в школу. Не знаю, чему ее там собирались учить: может, стенографии, или бухгалтерии, или домоводству, или всему этому разом.

Она пошла туда неохотно. Нунцию вызывали преподаватели, потому что ее дочь часто пропускала занятия без уважительной причины, мешала другим, отказывалась отвечать, когда ее спрашивали, а любое задание делала за пять минут и потом докучала товарищам. В какой-то момент она подхватила жуткий грипп, хотя раньше никогда ничем не болела: она с такой беспомощностью поддалась вирусу, что он быстро отнял у нее все силы. Дни проходили, а она все никак не выздоравливала. Как только она, еще более бледная, чем обычно, пыталась вернуться к обычной жизни, у нее снова поднималась температура. Как-то раз я встретила ее на улице, и она показалась мне призраком – призраком девочки, которая съела ядовитые ягоды, как на картинке в книге учительницы Оливьеро. Вокруг шептались, что она скоро умрет, и это страшно меня мучило. Однако она поправилась – как будто против своей воли. Но в школу, ссылаясь на отсутствие сил, ходила все реже и в конце года провалила экзамены.

Мне в первом классе средней школы тоже пришлось несладко. Поначалу я питала радужные надежды и, хоть не признавалась себе в этом, радовалась, что поступила именно с Джильолой Спаньюоло, а не с Лилой. В глубине души, никому не доступной, я предвкушала, как буду учиться без сидящей за соседней партой Лилы и буду лучшей. Но я сразу же начала отставать: в классе многие оказались сильнее меня. Мы с Джильолой словно попали в болото и, как затравленные зверюшки, затаились, напуганные собственной

посредственностью; мы весь год изо всех сил барахтались, чтобы не оказаться в числе худших. Я чувствовала себя отвратительно. Меня терзала мысль, что без Лилы мне больше никогда не выбиться в хорошие ученики.

В школе я то и дело сталкивалась с младшим сыном дона Акилле Альфонсо, но мы делали вид, что не знаем друг друга. Я не знала, что ему сказать, потому что считала, что Альфредо Пелузо правильно сделал, что убил его отца, и не находила слов утешения. Меня не трогало даже, что Альфонсо теперь сирота, как будто на нем лежала часть вины за то, что я столько лет боялась дона Акилле. Он носил куртку с пришитой черной лентой, никогда не смеялся и всегда был чем-то озабочен. Альфонсо учился не в моем классе, но говорили, что учится он очень хорошо. В конце года стало известно, что в следующий класс его перевели со средней оценкой восемь – я даже расстроилась. Джильолу отправили на переэкзаменовку по латыни и математике, а я еле проскочила со всеми шестерками.

Преподавательница вызвала мою мать и в моем присутствии сообщила, что от переэкзаменовки по латыни меня спасло только ее великодушие и что следующий класс мне без дополнительных занятий никак не одолеть. Я испытала двойное унижение: от стыда, что так плохо учусь, и от контраста между преподавательницей, стройной, в аккуратной одежде, изъясняющейся на литературном итальянском, и своей матерью, уродливой, в старых ботинках, с невымытыми волосами и чудовищным диалектом.

Должно быть, мать тоже что-то такое почувствовала. Домой она вернулась мрачная и сказала отцу, что учителя мной недовольны, а ей нужна помощь по дому и я должна бросить учебу. Они долго спорили и препирались, но в конце концов отец решил, что раз меня все-таки перевели, а Джильола не сдала целых два предмета, то пусть я учусь дальше.

Лето у меня прошло скучно, во дворе и на прудах, в основном в компании Джильолы, которая без конца твердила о студенте-репетиторе, который приходил к ним домой и, как ей казалось, был в нее влюблен. Я ее слушала, но мне было неинтересно. Время от времени я видела Лилу: она гуляла с Кармелой Пелузо, которую тоже отчислили из какой-то там школы. Я понимала, что Лиля больше не хочет дружить со мной, и от этой мысли на меня наваливалась невыносимая усталость и очень хотелось спать. Иногда, когда мать не видела, я ложилась в кровать и дремала.

Однажды днем я уснула по-настоящему, а когда проснулась, то почувствовала, что я мокрая. Пошла в туалет посмотреть и обнаружила, что трусы испачканы кровью. В ужасе, сама не знаю отчего (наверное, боялась, что мать будет ругаться за то, что я поранилась между ног), я хорошенько выстирала трусы, отжала и снова надела, как были, мокрыми. Потом вышла во двор: было тепло. Сердце колотилось от страха.

Я встретила Лилу с Кармелой и пошла с ними прогуляться до церкви. Я чувствовала, как у меня снова все намокает, но уговаривала себя, что это просто влажные трусы. Когда страх стал нестерпимым, я шепнула Лиле:

- Мне нужно кое-что тебе рассказать.

- Что?

- Я хочу рассказать только тебе.

Я взяла ее за руку и потащила за собой, но Кармела пошла за нами. Я так волновалась, что призналась обеим, хотя обращалась только к Лиле.

- Что это? - спросила я.

Объяснила все Кармела. У нее кровь шла уже год, каждый месяц.

- Это нормально, - сказала она. - У женщин так от природы: несколько дней кровит, болит живот и спина, но потом проходит.

- Точно?

- Точно.

Молчание Лилы подтолкнуло меня к Кармеле. Непринужденность, с которой она рассказала мне то небольшое, что знала сама, успокоила меня, и я прониклась к ней симпатией. Я весь день проговорила с ней, до самого ужина. Выяснила, что рана не смертельная. Напротив, «это значит, что ты взрослая и можешь родить ребенка, если мужчина вставит тебе в живот свою штуку».

Лила слушала нас, ничего или почти ничего не говоря. Мы спросили, шла ли кровь у нее; она замялась, но потом нехотя призналась, что нет, не шла. Она вдруг показалась мне маленькой, меньше, чем обычно. Она была на шесть-семь сантиметров ниже меня, кожа да кости, и совсем бледная, несмотря на то что все время проводила на солнце. И ее отчислили. И она ничего не знала про кровь. И ни один мальчик никогда не признавался ей в любви.

- И у тебя начнется, - утешили мы ее фальшивыми голосами.

- На фига? Раз у меня этого нет, значит, я этого не хочу. Это отвратительно. И те, у кого есть, мне тоже отвратительны!

Она развернулась уходить, но потом остановилась и спросила меня:

- Как латынь?

- Хорошо.

- Ты хорошо учишься?

- Очень.

Она подумала и пробормотала:

- А я нарочно сделала так, чтобы меня отчислили. Не хочу больше ни в какие школы.

- А что ты будешь делать?

- То, что мне нравится.

Она бросила нас там, посреди двора, и ушла.

До конца лета я больше ее не видела. Я очень подружилась с Кармелой Пелузо: несмотря на то что она слишком много смеялась и слишком часто ныла, в ней ощущалось такое мощное влияние Лилы, что временами она представлялась мне

второй Лилой, вернее, ее неполноценной заменой. Кармела говорила, подражая интонациям Лилы, повторяла ее любимые выражения и жесты, старалась двигаться, как Лила, хотя внешне больше походила на меня – хорошенькая, в теле, пышущая здоровьем. Она незаконно присвоила себе свойства Лилы, и это мне не очень нравилось, но в то же время притягивало меня к ней. Я никак не могла решить, то ли это копирование, на мой взгляд карикатурное, меня раздражает, то ли я им очарована: ведь даже в разбавленном виде черты Лилы действовали на меня завораживающе. Этим Кармела в конце концов и привязала меня к себе. Она рассказывала, каким ужасом была новая школа, как все ее обижали, а преподаватели терпеть не могли. Рассказывала, как с мамой и братьями ездила к отцу в Поджореале и как все они там рыдали. Она утверждала, что ее отец ни чем не виноват, а дона Акилле убило какое-то темное создание, не мужчина и не женщина, хотя женского в нем все же больше. Якобы оно жило вместе с мышами, по ночам и даже днем выбиралось из канализационных люков, творило всякие ужасы, которые ему полагалось творить, и снова скрывалось под землей. Потом она вдруг с глупой улыбкой призналась, что влюблена в Альфонсо Карраччи. Улыбка сразу сменилась слезами; эта любовь мучила ее, доводила до изнеможения: дочь убийцы влюбилась в сына жертвы. Стоило ей встретить его во дворе или на улице, и она чувствовала, что вот-вот потеряет сознание.

Ее откровенность поразила меня и укрепила нашу дружбу. Кармела поклялась, что никогда ни с кем об этом не говорила, даже с Лилой, да и мне решилась открыться только потому, что не могла больше держать это в себе. Мне нравился ее драматический тон. Мы подолгу обсуждали возможные последствия этого страстного чувства, пока не начался новый учебный год и времени на Кармелу у меня просто не стало.

Но какая история! Даже Лила, быть может, не сумела бы так рассказать.

3

У меня наступил период недомоганий. Я толстела, на груди под кожей появились два твердых бугорка, под мышками и на лобке выросли волосы, я стала подавленной и в то же время дерганой. В школе я уставала еще больше, чем раньше. Когда решала задачи по математике, ответ почти никогда не совпадал с указанным в учебнике, латинские фразы казались бессмыслицей. При первой возможности я закрывалась в туалете и рассматривала себя голую в

зеркале. Теперь я уже не знала, кто я, но подозревала, что и дальше буду меняться, все больше и больше, пока не стану такой же, как мать, – хромой и косоглазой, и меня никто никогда не полюбит. Часто я ни с того ни с сего принималась плакать. Грудь у меня постепенно росла и становилась мягче. Внутри меня копились какие-то неподвластные мне темные силы, из-за которых я постоянно пребывала в возбуждении.

Однажды утром перед школой ко мне подошел Джино, сын аптекаря. Его друзья, заявил он, считают, что у меня не настоящая грудь и что я подкладываю под кофту вату. Говоря это, он подхихикивал. И еще сказал, что сам он с ними не согласен и поставил на меня двадцать лир. Если выиграет, десять возьмет себе, а десять отдаст мне, но я должна показать ему, что у меня под кофтой нет никакой ваты.

Я здорово напугалась. Не зная, как себя вести, на всякий случай нахально – так с ним говорила бы Лиля – сказала:

– Гони десять лир.

– Что, я прав?

– Да.

Он убежал, но чуть погодя он догнал меня вместе с еще одним своим одноклассником, не помню, как его звали, – тощим, с темным пушком над губой.

– Он тоже должен посмотреть, – сказал Джино, – а то другие не поверят.

Я снова ответила Лилиным тоном:

– Деньги вперед.

– А если там вата?

– Нет там ваты.

Он дал мне десять лир, и мы втроем молча поднялись на верхний этаж дома, стоявшего перед сквером. Там, возле ведущей на террасу железной двери, разлинованной тонкими яркими полосками света, я подняла кофточку и показала им грудь. Мальчишки замерли. Они смотрели на меня, будто не веря собственным глазам, а потом развернулись и бросились вниз по лестнице.

Я вздохнула с облегчением и пошла в бар «Солара» за мороженым.

Тот эпизод плотно засел у меня в памяти: я в первый раз убедилась, что обладаю силой, способной как магнитом притягивать мужчин, но главное – осознала, что Лиля влияла не только на Кармелу, но и на меня, как невидимый, но требовательный призрак. Если бы не это ее влияние, что бы я сделала? Убежала бы, и все. А если бы мы были вдвоем с Лилой? Я потянула бы ее за руку и прошептала: «Пойдем отсюда», а потом, как обычно, осталась бы – потому что она, как обычно, и не подумала бы убежать. Но ее со мной не было, и я, почти не сознавая, что делаю, поставила себя на ее место. Вернее говоря, ее на свое. Я снова и снова прокручивала в памяти тот момент, когда Джино предложил мне десять лир, и ясно понимала, что заставила отступить в сторону себя самое и перевоплотилась в Лилу Черулло, воспроизведя ее взгляд, тон, жесты, наглость, – и осталась довольна результатом. В то же время я в тревоге спрашивала себя: «Может, я веду себя, как Кармела?» Мне казалось, что это не так, что я другая, но я не находила объяснения, чем именно я от нее отличаюсь, и это омрачало мою радость. Когда я проходила с мороженым мимо мастерской Фернандо и видела, как Лиля сосредоточенно расставляет на длинной полке ботинки, мне захотелось окликнуть ее, все ей рассказать и послушать, что она скажет. Но она меня не заметила, и я пошла дальше.

4

У нее всегда были дела. В тот год Рино заставил ее снова записаться в школу, но она туда почти не ходила, и ее опять отчислили. Мать просила ее помогать по дому, отец – сидеть в лавке при мастерской, и она, и не думая сопротивляться, с радостью начала работать. Изредка, когда нам случалось встретиться после воскресной мессы или прогуляться от сквера до шоссе, она не расспрашивала меня о школе, зато вздохнула и с восхищением рассказывала о работе брата и отца.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Пер. Н. А. Холодковского.

2

Струммоло – старинная неаполитанская игра, в ходе которой деревянный волчок на металлической ножке раскручивают особым образом при помощи бечевки. (Здесь и далее прим. пер.)

3

«Маленькие женщины» – роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832–1888).

4

«Сердце» – роман для подростков итальянского писателя Эдмондо Де Амичиса (1846–1908).

5

Обрезка (в полиграфии) – выравнивание книжного блока на резальной машине.

Купить: <https://tellnovel.com/elena-ferrante/moya-genial-naya-podrugа>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)